3

Калужский литературный альманах СИНИЕ МОСТЫ

СИНИЕ МОСТЫ

КАЛУЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

3

Калужское отделение
Союза российских писателей
Союз Поэтов

СИНИЕ МОСТЫ

Калужский
литературный
альманах

Калуга
2020

ББК 84(2Рос=Рус)6
С 38

Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и техническом содействии Союза российских писателей

Составитель
Александр Васильевич Трунин

С 38 **Синие мосты**: Калужский литературный альманах / сост. А. Трунин. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2020. — Вып. 3. — 160 с.

«Синие мосты» — альманах калужский. Смысл его издания — собирать всё лучшее, на наш взгляд, в литературе, связанной с Калужской землёй и предъявлять свету. Поэтому среди авторов второго номера не только жители региона, но и наши недавние гости, а также земляки, разбросанные по миру.

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-905849-06-0
978-5-907177-26-0 (Вып. 3)

© А. Трунин. Составление, 2020
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2020

От составителя

История нашей писательской организации уходит корнями в 90-е годы прошлого века. Но в нынешнем статусе, как свидетельствуют документы, калужское отделение Союза российских писателей существует с 2000 года. 20 лет прошло — невозможно пройти мимо такой знаменательной даты. И лучший способ её отметить — эта книга.

Полное название нашей организации: Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей».

Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР. У истоков её создания стояли Дмитрий Лихачёв, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Евгений Евтушенко, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Роман Солнцев, Фазиль Искандер и Владимир Маканин. Сегодня Союз российских писателей насчитывает в своих рядах более двух тысяч писателей. В их числе Михаил Кураев, Юрий Кублановский, Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Валерий Попов, Руслан Киреев и другие выдающиеся писатели России.

Региональное отделение СРП было создано в 2000 году на основе существовавшего ранее его регионального представительства. Первым председателем отделения стал Андрей Косёнкин. Членами КО СРП были теперь ушедшие из жизни Олег Бушко, Валерий Васильев, Светлана Львова (второй руководитель организации), Иван Калинин, Виктор Пухов.

В настоящее время в организации состоят Людмила Киселёва, Ольга Клюкина, Игорь Красовский, Вячеслав Некрасов, Владимир Обухов, Пётр Топорков, Павел Тришкин, Александр Трунин (руководитель организации в настоящее время), Марина Улыбышева, Галина Ушакова, Юрий Холопов, Ольга Шилова.

Все они успешно занимаются творческой деятельностью — свидетельство тому их многочисленные публикации в ведущих журналах страны, книги, спектакли, аудио- и видеопроекты по их произведениям. Писатели организуют литературные вечера, проводят презентации книг и другие творческие акции, встречаются со школьниками и читателями,

читают просветительские лекции, принимают участие во всероссийских и международных фестивалях. Многие из них стали лауреатами областных, всероссийских и международных премий.

За прошедшие годы Калужским отделением СРП были выпущены альманахи «Продолжение» (2002 и 2004), «Синие мосты» (2013 и 2015), сборник «Бересклет» (2012). В настоящее время Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского издаёт литературный альманах «Облака», в создании и формировании которого важную роль играет Калужское отделение СРП.

Особое место в деятельности организации занимает работа с литературной молодёжью: регулярно проводятся поэтические марафоны, творческие конкурсы молодых литераторов, мастер-классы, индивидуальные консультации, оказывается помощь в издании первых книг (серия «Новая поэзия Калуги»), в том числе на стипендии Министерства культуры России. Отмеченные талантом произведения начинающих авторов регулярно публикуются в альманахе «Зерно» (составитель Павел Тришкин), в поэтическом сборнике «Послушайте!» (составитель Игорь Красовский) и, как правило, во всех наших коллективных изданиях.

Особый случай — третий выпуск альманаха «Синие мосты», в нём участвуют только члены СРП.

Нас всего двенадцать; каждый написал свою главу — свой блок материалов, который представляет творческое лицо автора. А в целом, третий выпуск альманаха «Синие мосты» — это литературный автопортрет писательской организации, которая многие годы живёт активной творческой жизнью и уверенно смотрит в будущее.

Людмила КИСЕЛЁВА

ПУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ САМОЙ СЕБЯ

Людмила Георгиевна Киселёва родилась 31 января 1942 года в городе Боровске Калужской области. Окончила Заочный народный университет искусств. Статьи и рисунки публиковались в журналах «Юность», «Советская женщина», «Советский Союз», «Работница», «Спутник», «Молодая гвардия», газетах: «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» и других изданиях. Член Союза художников России, Союза журналистов России и Союза российских писателей. Директор общественной организации «Дело Общего Милосердия — дети-сироты и инвалиды». Награждена медалью ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством», а также Патриаршей грамотой «За усердные труды во славу Русской Православной Церкви». Почётный гражданин г. Боровска.

Она была вторым ребёнком в семье, а потом ещё двое, но она одна осталась жить из всех рождённых. А судьба уже готовила ей испытание на всю жизнь: в четыре года она ещё стояла, держась за табуреточку, а потом упала и больше не встала.

Отчаявшиеся родители Евдокия Васильевна и Георгий Константинович надеялись на врачей и врачи земные силились исправить её судьбу.

В Ленинградском институте Турнера ей подписали приговор: больше 15 лет не проживёт — слом случился в далёких генетических далях и это непоправимо. Но Людмила пошла восходить не ногами, а душой, обретая знания, понимания жизни, обучаясь тому, что Бог подал в её руки — дар рисования.

Рисунки рождались с трудом, но это был её мир, немножко не здешний, может быть будущий, где всё и все прекрасны, где нет болезни и страданий, где всё — любовь и радость, как в раю.

А рядом был мир земной, тяжёлый, болезненный и грешный, с его падениями и взлётами, с его подвигами и предательствами. Она выбирала книги о подвигах и книги о любви. И её усилия достигли успеха. Рядом с рисованием она делала первые попытки литературные. Ей было 13 лет и это было время, когда по радио звучали песни и речи, призывающие молодёжь на целину в казахстанские степи. Её первое сочинение так и называлось: «На целине». Ни о каких целинных делах не было и речи, это был маленький рассказ о любви молодых людей, приехавших покорять целинные просторы и полюбивших друг друга. Герой и героиня всё время ссорились друг с другом и также горячо мирились. Девчонки-подружки с интересом читали её «произведения» и требовали продолжения. Так рядом с рисованием и пошла её литературная жизнь: выставки картин по всей стране и журналистская работа в разных газетах: в местных, в областных, а иногда и в центральной прессе. Спустя годы это будут книги о собственной судьбе — биографическая «Когда долго живёшь» и книги писем — позабытый эпистолярный жанр, который имеет своего читателя и теперь.

Её первая персональная выставка передвигалась много лет, которые устраивали её друзья от Москвы до Урала, от Петербурга до Украины. Людмила обрела множество друзей среди зрителей, один из которых ходил на выставку каждый день и говорил: я сюда дышать прихожу. Это помогло девочке преодолеть застенчивость, связанную с её положением инвалида — общество здоровых часто отвергает тех, кто не такой по физическому состоянию и Людмила претерпела немало унижений и оскорблений в свой адрес за то, что не такая как все. А ей хотелось быть как все. Своими слабыми руками Людмила творила на своей голове такие причёски, которые

всех удивляли, а друзья в шутку её называли «королева местного значения».

Наступил возраст, когда девочка становится девушкой и женская природа проснулась в ней. Природа искала выражение себя в любви и звала осуществить своё предназначение. И тогда пришла любовь, любовь к тому, кто видится самым умным, красивым и обаятельным, каким и был Владимир Трошин, с которым состоялись счастливые мгновения жизни и самые печальные от невозможности быть с ним вместе.

В этот период жизни в её литературных записях появились новеллы посвящённые весне, радости любви и горечи всего уходящего. Ушёл из жизни в 31 год Владимир Трошин. И два года она рисовала только цветы, чтобы в буйстве их красок, снова вдохнуть жизнь. И тогда появилось её литературное произведение, которое стало основой в качестве сценария в документальном фильме заезжего в Боровск режиссёра, с которым свела её судьба. Уже никто не помнит этот фильм, но её эссе «Жить — это медленно рождаться» до сих пор переходит из рук в руки журналистам, которые пишут о ней, потому что его содержание — это размышление о смысле жизни тема, которая волнует всех.

В её жизни появился Вячеслав Рыжов, журналист из Магаданской газеты.

«Самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения», — говорил Экзюпери. Людмила на себе узнала, что это значит. Общение с Вячеславом наполняло их обоих радостью вдохновения и таинственным притяжением друг к другу, которое потом обернулось для Людмилы страстью такой силы, которая поглотила саму радость общения. Всем своим существом Людмила ощутила горечь невозможности для неё быть просто женщиной. Расставание было мучительным…

Но человеку нехорошо быть душой одному и мука невозможной любви утешалась стихами Валерия Прокошина, многие из которых были посвящены ей.

Людмила Киселёва с Валерием Прокошиным

Белым-белым за окном снегом,
Тонким-тонким у меня слухом:
То ли ты летишь ко мне эхом,
То ли я к тебе лечу духом.

Но рядом с Прокошиным уже появился Николай Милов, судьбоносный человек, на руки которого судьба передала Людмилу, когда из жизни ушли её родители. Неожиданно для всех состоялась свадьба Людмилы и Николая. Руки Николая быстро адаптировались к новой жизни и друзья шутя называли его «мамка Колька».

Жизнь превратилась в трудный, но радостный поток с друзьями-поэтами, с музыкантами, писателями, артистами, с песнями, с рисованием, и стихами Николая Милова:

Проснись! Стою у изголовья,
Который час свисаю вниз
Всей нежностию и любовью,
Как дождь за окнами. Проснись!

с путешествиями в пространстве лесов и полей на инвалидной коляске. А между тем физические силы оставляли Людмилу и она приняла

Людмила Киселёва с Николаем Миловым

лежачее положение, когда могла держать в руке только телефонную трубку. Но и тогда она не осталась без дела, которое было бы полезно другим. У неё появилась забота о детях-сиротах, находящихся в Ермолинском доме ребёнка, она также приняла активное участие в открытии Асеньевского детского дома. Эту заботу разделял Николай, общаясь с воспитанниками детских домов, куда она не могла приехать.

Когда был жив отец Георгий Константинович, он часто возил Людмилу на машине по Боровску и она сокрушалась, глядя на разрушенные, запущенные, заросшие бурьяном храмы и однажды она обратилась с письмом в газету «Правда» со статьёй «Я рисую Боровск» о безобразном состоянии наших культурных ценностей, после чего были выделены деньги, и началась реставрация храма Бориса и Глеба, в котором теперь идут службы.

Спустя годы к ней пришло сознание, что можно своим усилием, своим желанием, своей верой восстановить храм. Так на улице Володарского возродилась её стараниями и руками её помощников церковь Крестовоздвижения.

Настало время и её рисунки на тему церквей обрели реальность, как и рисунки детей, воплотившихся в тех ребятишек которые при-

шли в созданный ею детский Православный Центр милосердия и культуры из разных многодетных семей. С каждым годом детей прибавляется всё больше, они учатся рисовать, занимаются гончарным делом, лепкой из глины, рисуют по стеклу, поют в хоре «Благовест», изучают родной язык, играют в театре «Преображение» и ещё много чего умеют. Её мечтой всегда было желание, чтобы дети открыли для себя красоту Божьего мира, научились ценить её и радоваться каждому дню и любить свою землю. И это придаёт смысл её земной жизни. Вопреки прогнозу врачей Людмила переступила тот порог, который ей назначили врачи намного лет вперёд.

На одной из улиц Боровска ожила фигурка её девочки с зонтиком из рисунка «Пусть светит!». Став бронзовым фонтаном, вокруг которого собираются мамы и их малыши и это тоже реальность её рисунков, её жизни. Этот рисунок символизирует её собственную жизнь: верить в осуществление невозможного даже укрыть зонтиком свет далёкой звезды, чтобы светила всем.

«В земной жизни нет счастливого конца, но есть возможность жить, чувствуя своё высокое предназначение. Восстановить храм гораздо легче, чем изменить своё сознание, обретая достоинство быть человеком по Божьему подобию. И хочется верить, что каждый русский вспомнит, что он русский, и не смирится с невидимым врагом, разрушающим его душу изнутри, и поднимется на него, как всегда в годы тяжких испытаний для Отечества. Ведь Отечество — это не только наша общая Земля, страна, государство. Это наша общая душа» — так думает Людмила Киселёва.

Книги Людмилы Киселёвой

1. «Сотворение жизни» (1999)
2. «Когда долго живёшь» (2012)
3. «Живите в радости» (2013)
4. «Если сердце причастно» (2014)
5. «Испытаниями растём» (2016)
6. «Встань и иди!» (2019)
7. «Что я буду делать, когда умрёт мама?» (2019)

Фильмы о Людмиле Киселёвой

1989 год — «Я выбираю любовь», реж. Ю. Щербаков, Ростовская студия кинохроники.

2006 год — «Про людей», реж. Т. Малова, ООО «Студия «Фишка-фильм» по заказу ГТРК «Культура».

2011 год — «Женщины в православии: «Сила моя в немощи — Людмила Кисёлева». ООО «Студия «Лавр».

2014 год — «Философские тетради Людмилы Киселёвой», реж. Н. Тереховская. ООО ТРК «НИКА».

Книги о Людмиле Киселёвой

Пыжикова Т. М. Напряжение. М.: Молодая гвардия, 1986.

Воскресенская М. Здравствуй, вот и я!: собрание писем Л. Г. Киселёвой. — Боровск, 2004.

Постовалова В. Людмила Киселёва среди людей. Калуга: Изд-во научной литературы Н. Ф. Бочкарёвой, 2006.

Художники земли калужской. Альбом. Калуга: Калужская организация Союза художников России, 2006.

Ольга КЛЮКИНА

ЗЕРКАЛЬЦЕ ЗЕЛЁНОЕ

Творческая автобиография с портретной галереей

Я иду по летней, утоптанной тропинке в сад, смотрю под ноги.

— Скорее! Что ты там ищешь? — оборачивается отец.

Стараюсь идти быстрее, по пути собирая и складывая в карман зелёные бутылочные стекляшки. Их много, и некоторые так прочно втоптаны в серую, похожую на цемент, дорожную пыль, что не достать. А вдруг среди них как раз лежит ОНО, волшебное зеркальце? В нём можно увидеть себя в будущем и узнать, какой ты станешь взрослой?

На вид это зеркальце похоже на обычную зелёную стекляшку от бутылки (на коричневые и белые можно не обращать внимания), чтобы не всякий догадался про волшебство. Но мне-то известна тайна…

* * *

Я родилась в посёлке Приволжском Саратовской области и с детства задавала себе вопрос: почему вокруг так пусто? Где дворцы, старинные замки, дома с колоннами, скульптуры, парки с фонтанами и вообще всё то, что есть на картинках в книгах? Может быть, всё это и у нас когда-то было и вдруг исчезло? Мне было невдомёк, что наш посёлок всего на тридцать лет старше меня и возник буквально на голом месте.

В 30-х годов XX века, когда в стране началась индустриализация, в заволжских степях, где издавна разводили быков, овец и баранов, построили мясокомбинат (в просторечии — Мясик). Вокруг производственных корпусов появились бараки для рабочих, баня, магазины и всё, что нужно для жизни. Новый посёлок на левом берегу Волги без лишних хитростей назвали Приволжским. Во время Великой Отечественной войны сюда был эвакуирован московский завод «Авиаприбор», выпускавший точные приборы для авиации. После войны на его базе в посёлке образовался завод «Сигнал». На месте бараков появились двухэтажные и пятиэтажные дома, школа, детский сад. В середине 50-х годов в посёлке Приволжский и встретились мои родители.

Рисунок Владимира Мошникова

Мама — выпускница-отличница Саратовского экономического института — попала на «Сигнал» по распределению. Однажды она потеряла ключи от дома и отправилась в индустриальный цех, чтобы сделать новые. Девушке вызвался помочь молодой мастер цеха со светлым задорным чубом по моде пятидесятых — мой отец. Вскоре они поженились, после чего в поселковом одноэтажном роддоме родилась моя старшая сестра Надя, а через несколько лет и я.

* * *

Самое первое моё детское воспоминание: я бегаю по квартире, надев на голову белый эмалированный горшок, и изображаю из себя фашиста. Родители пытаются меня поймать, но я от них уворачиваюсь, маршируя. В глубине души я понимаю, что делаю что-то не очень правильное

(горшок ведь предназначен для других целей), но не могу остановиться. Меня распирает от ощущения свободы, веселья, собственной удали и какого-то нового чувства. Должно быть, это было ощущение творческого акта, представления, чего-то такого, что не укладывалось в обычную жизнь. Впервые я видела себя со стороны, в каком-то образе. Отец немного сердился и уже начинал покрикивать, мама смеялась, но в целом зрители были довольны.

* * *

Принято считать, что все дети открыты, наивны, доверчивы. Но я хорошо помню и другое: свою закрытость от мира взрослых, даже некоторую надменность от осознания того, что у меня есть свои тайны, о которых никто не знает.

Целыми днями бродила я по пустырям и развалинам бараков (в то время детей ещё отпускали гулять одних), и представляла, будто хожу по дворцовым залам, возлагаю цветы на древние могильные плиты, беседую с гномами, которые прячутся от людей под лопухами. В раннем детстве мне часто снились мистические сны (особенно после смерти бабушки, она умерла, когда мне исполнилось пять лет). По ночам ко мне приходил Дядька Сон, на которого нельзя смотреть, иначе сразу умрёшь. Зажмурившись, я слышала его тихие, приближавшиеся шаги, дыхание возле своего лица, чувствовала, как он бородой щекочет мою щёку. Наверное, это было первое, ещё дописьменное сочинительство, и оно давалось мне мучительно.

Дома меня называли мальчишеским именем Ольгун — как героя народного эпоса.

* * *

А ещё в моём детстве была Волга! В посёлке почти ни у кого не было машин, зато почти у всех имелись катера «Прогресс» или моторные лодки. По воскресеньям на волжские острова — Дубину, Кривушу, Песчаный — выезжали на весь день семьями и большими компаниями: раскладывали «скатерти-самобранки», варили уху на костре в чёрных закопчённых вёдрах, для детей устраивали качели над водой. Оказалось, что в Волге можно не только плавать, но и просто лежать, как на огромной кровати, раскинувшись на спине, как угодно вертеться и кувыркаться (тогда я не знала ещё стихотворения «О, Волга, колыбель моя»).

Позже отец стал меня брать меня на большую рыбалку, учил с катера закидывать спиннинг. Мы ловили на блесну судаков, лещей. Мимо

проплывали пассажирские пароходы и баржи с песком, над головой с криками носились чайки, в глубине таились большие рыбы, и мы находились ровно посередине всего мира.

Однажды отец взял меня на зимнюю рыбалку. Мы шли по льду, когда вдруг он начал оседать под ногами и разъезжаться во все стороны веером мелких трещин. Отец знаками показал, что нужно лечь на живот, и мы потихоньку поползли обратно. Это было настоящее, опасное приключение, которое мы хранили от всех в тайне.

* * *

В детском саду у меня появилась близкая подруга. Её отец по национальности был корейцем, и она унаследовала у него не только черты лица, но и восточную невозмутимость. Она спокойно соглашалась на любые игры и авантюры.

«Давай будем подбирать всех бездомных котят в посёлке, и устроим для них детский сад!», — предлагала я, и мы собирали по дворам котят, купали их под колонкой, расчёсывали гребешками, кормили, и на ночь укладывали спать в коробках из-под обуви, проделав в них дырки и перевязав разноцветными лентами. Наутро все наши воспитанники из коробок благополучно исчезали, и приходилось начинать всё заново.

Ещё мы без устали «резались в артистов». В киосках «Союзпечать» продавали фотографии популярных артистов кино, которые следовало перетасовать, как колоду карт, раздать поровну и показать свой фильм. Сюжет всегда был один и тот же: он и она любят друг друга, но кто-нибудь злой (Алла Демидова с короткой стрижкой и тонкими губами хорошо подходила для этой роли) мешает их счастью. Мы часами лежали где-нибудь в траве, расставив вокруг себя артистов, что-то бормотали, а вокруг ходили удивлённые куры — зрители наших бесконечных пра-сериалов.

Однажды мне пришло в голову, что если в нашем посёлке есть военный завод, то непременно должны быть и шпионы. Бедный заводской работяга по фамилии Кудасов, сколько же ему пришлось от нас натерпеться! Он шёл по улице пьяненький и сказал кому-то в своё оправдание: «Все мы человеки…» А ведь правильно говорить — «люди»! Следовательно,

он иностранец, плохо владеет русским языком и проник на заводской посёлок с тайной целью. Когда по вечерам Кудасов выходил во двор поиграть с мужиками в домино, мы устраивались на скамейке напротив и не сводили с него глаз, записывая в особую тетрадь каждое его слово и особые приметы. Мы ходили за беднягой по пятам, проникали в его квартиру под видом сборщиков макулатуры до тех пор, пока он не показал нам свой большой рабочий кулак и не пригрозил расправой.

Мне кажется, всё моё дальнейшее сочинительство выросло из детских игр, фантазий и сновидений. Во всех моих исторических романах и повестях, сказках и «пересказках», есть отзвук тех вымыслов, которые сразу же воплощались в жизнь.

* * *

Когда я училась в девятом классе, в нашем поселковом ДК «Восход» появилось объявление о наборе в театральную студию «Поиск». Её набирали выпускники Московского института культуры, молодая семейная пара — Лариса Евгеньевна Сушинкина (она родом из посёлка, приехала на отработку после института) и москвич Вадим Иванович Афонин. Оба — влюблённые в театр, полные замыслов и творческих идей. Я словно проснулась после спячки, в которую стала впадать к старшим классам: игры ушли в прошлое, учиться в школе стало неинтересно. Студия «Поиск» заменила мне сразу всё. Упражнения по системе Мейерхольда, актёрские этюды, репетиции, беседы о поэзии и искусстве…

Заморыш Клюкай.
Рис. Владимира Зернакова

Отец всеми силами старался меня «приземлить» и отговаривал от поступления в театральное училище (нарочно называл меня «Ольга Петровна — горбата неровна»), и уговаривал выбрать нормальную профессию, чтобы потом тоже работать на заводе, но это было уже невозможно.

Хотя начёт «горбаты-неровны» он был совершенно прав. Вместе с «Войной и мир» я как раз прочитала дневники молодого Толстого, и была настолько поражена их исповедальностью и честностью перед собой, что тоже решила встать на путь «опрощения». Никаких нарядов, причёсок, косметики, прихорашиваний и вообще всего внешнего. Про себя я рассуждала примерно так: тогда со мной будут общаться только те, кому интересен мой сложный внутренний мир, а все остальные сами собой отсеются.

Растянутый свитер, волосы сосульками, взгляд исподлобья — ничего удивительного, что в театральное училище меня не приняли. А так как у меня были два главных увлечения — литература и театр, то я поступила в Саратовский университет на филфак, поближе к книгам и к Толстому.

* * *

С детства я пыталась записать свои мысли и чувства, вот только жизнь у всех моих дневников, тетрадок и блокнотов была короткой. Через какое-то время, перечитав свои записи, я ужасалась их глупости, сжигала блокнот на помойке, и вскоре покупала новый. Должно быть, эти исписанные листки служили чем-то вроде реактивного топлива для моей внутренней ракеты, от которой отделялись ступени за ступенями.

В студенческие годы у меня появился новый круг друзей. Странная, надо сказать, у нас подобралась небольшая компания неформалов, закрытая от всего остального мира. Мы разговаривали друг с другом стихами Хармса и обэриутов, куда-то ездили автостопом, всё время смеялись и дурачились, словно были под градусом, хотя в то время презирали спиртные напитки. Это было что-то вроде комедии дель арте на местный лад (я была Петруша, дочь Петра), воплощённая в жизнь идея карнавальности по Бахтину (чувствовалось и влияние филфака).

Кл. собирается в лес.
Рис. Владимира Зернакова

Должно быть, именно я («Пе-

труша-писарчук») заразила своих новых друзей эпистолярной лихорадкой: мы всё время писали друг другу письма или объяснительные (объясняющие себя) записки, хотя виделись практически каждый день. Послания отправлялись по почте, вручались в руки при встрече, незаметно оставлялись на столе или подсовывались под дверь. Некоторые из моих писем тех лет сохранились, и в них видно, что меня тогда волновало и мучило.

«Как странно. Время вдруг стало постепенно исчезать и совсем исчезло. Ещё полгода назад я могла дать себе отчёт в каждом прошедшем дне, неделе, месяце. И хотя отчёт этот, сознательное чувство времени было скудным, но оно всё-таки было. За какие-то два с половиной месяца всё переменилось необыкновенно. Дни стали сумбурными, короткими, неуправляемыми. Я всё время смеюсь, дурачусь, и это мне самой как-то странно. Странно от того, что я прекрасно вижу (вернее, чувствую внутри) неестественность такого положения. Похоже на смех во время щекотки. Будто тебя щекочут (кто? я сама себя?), и ты смеёшься, смеёшься, смеёшься без устали, а потом вдруг наступает усталость, апатия, мрачное раздражение. Так и у меня».

* * *

Но больше всего в юношеских письмах я писала о муках творчества и жажде самовыражения.

«У меня в голове куча замыслов. Причём, не просто настроение, а замыслы, совершенно стройные, законченные сюжеты: ненаписанные пьесы, рассказы. Но то ли от того, что я ясно понимаю, как должно быть, то на деле (на бумаге) вижу, насколько всё не так. Получается в сто раз хуже. Я постоянно сравниваю с тем, как должно быть, как я это себе представляла — и вижу, что замысел и реально написанное разделяет целая бездна… Ступеньки трудные, и я не знаю, как их преодолеть».

«Нет ни одного такого дня (ни одного — это конкретно, не для обобщений), чтобы я не написала ни строчки. Обязательно, хоть чушь какая-то. Пока всё выходит «личное»: всякие раздумья-дневники, «понимания». Без этого я внутри как-то устаю. Без этого вдруг появляется, включается к вечеру какое-то гложущее, изматывающее чувство, недовольство непонятно собой и непонятно чем и кем, до тошноты, тяжёлая неясность…»

«Когда мы смотрим на цветок, то видим его цвет, форму, чувствуем его запах, слышим, как жужжит на нём шмель, чувствуем тепло своей руки, когда она прикасается к холодному стеблю — и всё

это сразу, одновременно, бессознательно, в одно мгновение. Тысяча эмоций, ощущений, ассоциаций, складывается в одно огромное чувство — чувство цветка. Но вот я сижу за столом. Передо мной лист бумаги (нелинованный, кто-то из великих говорил, что это обедняет воображение) и ручка. Вот и всё. Нет, не всё: ещё стопка книг на столе, вид за окном, чьи-то голоса. А в центре: лист и ручка. И как же мне описать словами то большое и сложное чувство, что возникает у меня внутри при виде цветка? Все свои ощущения, и запах, и тысячу неуловимых вещей? Сесть и описать словами, хотя бы приблизить нечто подобное. Очень трудно. И так со всеми замыслами. Я слышу вокруг разговоры, смех, музыку всякую, беготню, слышу радость, и многое другое. А на бумаге получается: «День был солнечный». Как тут не горевать?»

«Я могу писать только конкретно для кого-то, как будто разговариваю с кем-то, чем-то своим делюсь. Тогда меня это приободряет, толкает вперёд, греет… Хочу писать только для друзей, для людей, которых я сильно люблю. Просто писать, обычно, тепло. А дальше уже дело не моё. Может, кому-то и понравится».

«Очень странно, но по внутреннему настроению я чувствую, что я уже писатель, хотя ничего толкового ещё не написала. И всё равно уже писатель».

Как бы ни так, «писатель»! Теперь я понимаю, как бы мне тогда помогла хорошая литературная студия, умный наставник, который сумел бы подтолкнуть и сдвинуть с места телегу, нагруженную замыслами. Но не тут-то было! Общение в кругу, где тебя понимают без слов и авансом считают гением, плюс чудовищное самомнение, плюс лень и желание карнавала. А потом тем более стало не до того: замужество, дети, работа в газетах…

Из написанного в те годы мне нравится рассказ «Тот адрес» (он опубликован в альманахе «Облака», № 1 2018 г. и в журнале Homo Legens № 4 2017), и, быть может, ещё парочка. Всего-то ничего. Во многих моих ранних рассказах есть привкус безысходности, что-то тяжёлое и удушливое, и мне трудно их перечитывать. Всё вдруг после тридцати сплелось в один узел: развод, смерть отца, перестройка, безденежье, и пробуждение от счастливых снов детства и юности.

* * *

В то время я работала журналистом, освещая в городских и областных газетах вопросы культуры: писала о новых выставках и премьерах спектаклей, делала развёрнутые интервью с творческими людьми.

Шарж Александра Антонова

Жизнь закрутилась с бешеной скоростью, особенно в период работы главным редактором «Радио-Рокс-Саратов». Одновременно я вела на радио программу для детей «Кавардак». Всё чаще по ночам мне приходила мысль: неужели никогда не наступит время, когда я смогу ли писать что-то своё, просто так, а не для очередной программы или газетной рубрики?

Позже мне приходилось по капле «выдавливать из себя журналиста», и, прежде всего, избавляться от желания получить быстрый результат, как можно скорее поставить в тексте точку и переключаться на что-то другое. Нужно было учиться получать удовольствие от самого процесса, вырабатывать терпение, выносливость, усидчивость, «долгое дыхание»…

* * *

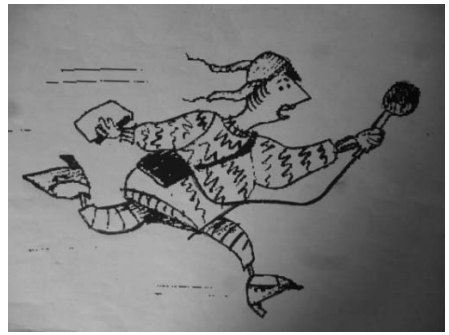
Как ни странно, моими учителями стали саратовские художники — в литературной среде я так и не смогла найти наставников.

Особенно я сблизилась с «хвалынцами» — группой художников, который ежегодно под руководством Павла Маскаева и Владимира Мошникова ездили на пленэры в Хвалынск, на родину Петрова-Водкина. Несколько раз я ездила с ними в Хвалынск, смотрела как они без устали, с утра до вечера работают, показывают друг другу готовые холсты, обсуждают удачи и промахи. Никто из них не ждал от себя мгновенных шедевров, а терпеливо взращивал свои способности, воплощая заветную мошниковкую идею искусства как духовного пути. Володя Мошников, может быть, сам того не зная, стал и для меня учителем и наставником — как и для многих, кому посчастливилось с ним близко общаться.

* * *

После перестройки в городе появилось несколько литературных агентств, где требовались литературные «негры», и я решила оставить

журналистику и попытаться жить литературным трудом. Без всякого труда мне удалось написать несколько ироничных детективов под «Марину Серову», увидев, какая это забавная рутина. И тут в одном литературном агентстве понадобились авторы для серии «Избранницы судьбы» московского издательства «Терра-книжный клуб» в жанре исторической беллетристики — о великих женщинах прошлого. Мой выбор пал на древнегреческую поэтессу Сапфо, родоначальницу женской лирики. Древняя Греция, мифы, античность, история, поэзия… Я словно снова вернулась в своё детство, когда была свободной, несуетливой и не обременённой житейскими печалями.



Тютёля из «Кавардака».
Рис. Сергея Белякова

Мы как раз переехали с детьми в двухкомнатную квартиру, где маленькая угловая комната стала моей спальной и первым в жизни кабинетом. «Думай о дальних мирах как принимающий в них участие», — повторяла я про себя слова Марка Аврелия, каждое утро просыпаясь с чувством, что внутри меня — огромная гора из сцен и диалогов, которая заполоняет все мои мысли и чувства, и, чтобы не задохнуться, надо хотя бы немного её разгрести.

О моей героине сохранилось мало исторических сведений. Известно, что на острове Лесбос она основала школу для девушек из знатного рода, где они обучались музыке, пению и танцам. Но в моём распоряжении была целая книга «сапфических строк», прекрасных обломков от стихов и миф о любви Сапфо к юноше по имени Фаон (считается, что она бросилась со скалы из-за неразделённой любви). Как оказалось, вполне достаточно для романа в виде большой, красивой сказки.

* * *

Мне хотелось писать в разных жанрах, и я пыталась понять, как это делается: любовный роман, детский детектив-страшилка, что-то ещё.

Однажды в страшном расстройстве я возвращалась из литературного агентства, где мне только что вернули присланную из Москвы редакторскую правку романа «Визажистка» (он вышел в 2003 году в издательстве «АСТ»). На первой странице распечатки красными чернилами было написано: «Мы пишем криминальный роман! Мало

Рисунок Владимира Мошникова

криминала!» — и подчёркнуто двойной чертой. Я недоумевала: как же так, ведь изначально об этом речи не было.

Войдя в подъезд своего дома, я увидела на лестнице кровь. Кровавая дорожка тянулась как раз к нам на третий этаж. Железная дверь нашей квартиры была вся в пятнах крови, торчали оторванные телефонные провода. Оказалось, что милиция приходила задержать соседа-наркомана, тот сопротивлялся… За криминалом далеко не надо было ходить: наш дом на Пролетарке в Заводском районе был его рассадником.

Похоже, именно тогда у меня сформировалось твёрдое решение не писать реалистическую прозу такую — ничего про настоящую, реальную жизнь. Зачем множить весь этот мрак, что меня окружает? Если бы я решила описать с натуры своих соседей по подъезду нашей сталинки», то любой редактор всё равно сочтёт это за вымысел или художественное преувеличение. Через стенку жил сосед- пьяница, бывший чернобылец, с двумя взрослыми сыновьями-наркоманами: один из них торговал наркотиками, как раз его тогда в очередной раз брали под арест. Квартиру напротив занимал не просыхающий алкоголик Гриша, который целыми днями орал на свою старую мать, передвигавшуюся на костылях, вымогая у неё пенсию на выпивку. На первом этаже жил тихий мужчина неопределённого возраста с сумасшедшей сестрой, целыми днями заунывно игравшей на аккордеоне. Но однажды в их квартире наступила тишина: сестра бесследно исчезла, и её не нашла милиция. Соседи шептались, будто брат её убил и где-то спрятал — с той поры я боялась проходить мимо их двери. Спокойный семьянин со второго этажа неожиданно для всех повесился, а потом то же самое сделал сосед-наркоман, причём, в лестничном проёме подъезда. Всего-то девять квартир, а какая густая концентрация жути! Нет уж, лучше пусть будут сказки, легенды, древние миры — чем дальше от современности, тем лучше. Только недавно я стала думать иначе.

* * *

Следующей моей «избранницей судьбы» стала женщина, чья история изложена в Библии, в ветхозаветной «Книге Эсфирь». Эта история произошла в V веке до нашей эры в Древней Персии, где жила большая колония иудеев (после того, как персы завоевали Вавилон, не все евреи, уведённые в вавилонский плен, сразу вернулись на родину).

Совершенно новый для меня опыт: писать по заранее известному сюжету, от которого нельзя ни на шаг отступить, то есть двигаться вглубь библейского текста. Приходилось расшифровывать для себя каждую строку, начиная с первой: «Во второй год царствования Артаксеркса великого, в первый день месяца Нисана, сон видел Мардохей, сын Иаиров, Семеев, Кисеев, из колена Вениаминова, Иудеянин, живший в городе Сузах, человек великий, служивший при царском дворце».

Кто такой этот царь Артаксеркс, какого он возраста и кто был до него? «Нисан» — вавилонское название месяца, означающего «первый весенний месяц» или «начало месяцев». То есть, в нашем понимании это март-апрель, когда на деревьях появляются почки. А какой была весна в Древней Персии, или в современном Ираке? Какие там растут деревья и цветы, что за погода? И почему подчёркивается, что Мардохей видел сон именно в первый день нисана? Может быть, имеется в виду день весеннего равноденствия, когда свет теснит тьму, и сон Мардохея предвещает хороший финал дальнейшей истории? И почему Мардохей «человек великий»? Приведённая в Библии его родословная даёт ответ на этот вопрос — он же тоже из царского рода, потомок царя Давида. Интересно, а каким был город Сузы — столица древних персов и как выглядел царский дворец? Почему иудей, бывший пленник, занимал почётную должность царского привратника? Для ответа на этот вопрос нужно понимать политику древних персов по отношению к иноплеменникам, то есть найти сведения и на эту тему.

Вопросы, на которые нужно найти ответы, чтобы двигаться дальше, груды книг и словарей… Такое чувство, будто двигаешься с фонариком в пещере в темноте, высвечивая то одну, то другую подробность, которые постепенно складываются в общую картину.

Через несколько лет я оказалась на конференции MAI (Международная Медиа Ассоциация) по христианскому книгоизданию, которая проходила в Австрии, в старинном замке неподалёку от маленького альпийского городка Миттерсил. Драматург и эссеист Андраш Вишковски уточнил этот пещерный образ, сравнив образ жизни романиста с работой в шахте: стоит разогнуться — и оцарапаешь спину. Чтобы

довести свой замысел до финала, нужно каждый день по многу часов проводить за компьютером и сделать это своим образом жизни.

Кто-то сказал, что книга может изменить читателя, только если вначале она изменит одного человека — автора. Такой книгой, в корне изменившей мою жизнь книгой, стал роман «Эсфирь». Впервые прочитав от начала до конца Библию, я почувствовала живое дыхание Бога.

* * *

Не буду рассказывать историю знакомства с Инной Львовной Лиснянской — она описана в моей повести «Муравей на мониторе», опубликованной в журнале «Дружба народов» (№ 1, 2018).

Недавно я перечитала стихотворение «Флешка», которое посвятила мне Инна Львовна. Конечно, она писала в нём о себе, но получилось, что и обо мне тоже.

Папки и клей, дыроколы и скрепки
В прошлое канули, впрочем, без спешки.
Факты грызу я, как белка орешки, —
Вся моя жизнь разместилась на флешке.

Ну, конечно, здесь же и про моё детство с блокнотиками, скрепками, и про годы в разных редакциях, где при помощи дыроколов делались подшивки газет.

А «взлёты любви и восторгов излишки»? По поводу этой строчки Инна Львовна меня строго спросила, посмотрев в глаза: «Надеюсь, понятно, я имею в виду вовсе не платоническую любовь?»

«Злая любовь и вторая попытка кров обрести»...

«Вот и от шарика долгая нитка ищет какой-нибудь в мире зацепки...»

«Вот и качу с чемоданом тележку в аэропорте»... Неважно, что я качу чемодан на Павелецком вокзале, а не в аэропорте, но всё равно похоже.

«В столицу калитка...» И здесь в точку: когда я жила с Инной Львовной Лиснянской на даче в Переделкино, у меня появилась работа на православном телеканале «Радость моя». Сказочное в каком-то смысле время, когда можно было делать что-то новое, всё время учиться, и получать за это зарплату. Тогда появились сценарии детского сериала «Остров открытий» (на библейские ветхозаветные сюжеты), документальные фильмы о новомучениках, опыт работы главным редактором детского познавательного журнала «Шишкин лес», сценарии к четырёхсерийному мультфильму «Кто-то рядом», и много чего ещё.

Но всё это пришлось оставить, когда в издательстве «Никея» мне предложили работу над серией книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате».

В самом замысле серии — популярно рассказать об истории Церкви через биографии святых разных веков — было то, к чему я, так или иначе, шла всю свою жизнь. Книги на библейский сюжет, притчи об отцах-пустынниках, даже детские мечты об античных колоннах и средневековых замках крепостей — казалось, всё происходило ради этого.

Пришлось на несколько лет «прописаться» в ленинке и забыть обо всём. Если бы у меня в запасе было ещё несколько жизней, то на основе каждой истории из шести книг, составивших серию «Святые в истории», можно было бы написать роман. Пятьдесят четыре романа!

Рисунок Марии Макаровой
(внучки И. Л. Линянской)

* * *

Я иду вслед за родителями по летней дороге в сад, разглядывая на ходу зелёные стекляшки, подношу к глазам то одну, то другую.

И вдруг вижу незнакомый город, здание вокзала с надписью «Калуга», где меня встречает человек с внимательными, родными глазами. Мы вместе садимся в такси и едем на Ольговку, на улицу Ольговскую — туда, где положено жить ольгам. В зелёном зеркальце появляются новые незнакомые лица, сцена Калужского Тюза, где репетируют мою пьесу, новые обложки книг, комната с письменным столом и компьютером...

— Что, опять свои сокровища собираешь? — окликают меня мои молодые родители. — Мы так никогда до сада не дойдём, бери пример с Нади.

Теперь я вижу в волшебном зеркальце зелёный сад — только не наш, а другой, с деревянным столом под яблоней, — и зелёный дачный домик с верандой...

Дальше пока не буду смотреть и тем более рассказывать, чтобы всё сбылось.

Библиография

1. Сапфо. Исторический роман. М.: Терра — книжный клуб, 2000. Серия «Избранницы судьбы».
2. Эсфирь. Исторический роман. М.: «Терра — книжный клуб, 2002. Серия «Избранницы судьбы». Переиздания: М.: Триада, 2006; М.: Мир книги, 2010.
3. Огненный меч Гедеона. Повесть для детей в серии «Библейские битвы». М.: Триада, 2007.
4. Верный страж Мардохей. Повесть для детей в серии «Библейские битвы». М.: Триада, 2007.
5. Братская победа, или Битва, которой не было. Повесть для детей в серии «Библейские битвы». М.: Триада, 2007.
6. Пророк Иона: одинокий воин. Повесть для детей в серии «Библейские битвы».
7. Никита-мизинчик и чудесный клад (Приключения времён Древней Руси). Историческая повесть для детей. М.: Лепта, 2007.
8. Однажды... Сборник христианских притч / авт.-сост. Ольга Клюкина. М.: Триада, 2007.
9. Огоньки в пустыне. Жития египетских отцов-пустынников в переложении для детей. М.: Отчий дом, 2008.
10. Святой Герасим и лев. Книжка-раскраска. Житие святого и интересная игра. М.: Никея, 2010.
11. Святой Серафим и медведь. Книжка-раскраска. Житие святого и интересная игра. М.: Никея, 2010.
12. Жил человек. Сборник христианских притч / авт.-сост. Ольга Клюкина. М.: Никея, 2009 . Серия «101 притча».
13. Отцы-пустынники. Сборник христианских притч / авт.-сост. Ольга Клюкина. М.: Никея, 2009. Серия «101 притча».
14. Просто верить. Сборник христианских притч / авт.-сост. Ольга Клюкина. М.: Никея, 2012. Серия «101 притча».
15. Закон любви. Краткий современный катехизис для тех, кто хочет быть с Богом. М.: Никея, 2013.
16. Святые в истории. Жития святых в новом формате. I–III века. М.: Никея, 2014.
17. Святые в истории. Жития святых в новом формате. IV–VII века. М.: Никея, 2014.
18. Святые в истории. Жития святых в новом формате. VIII–XI века. М.: Никея, 2014.

19. Святые в истории. Жития святых в новом формате. XII–XV века. М.: Никея, 2015.
20. Святые в истории. Жития святых в новом формате. XVI–XIX века. М.: Никея, 2015.
21. Святые в истории. Жития святых в новом формате. XX век. М.: Никея, 2016.
22. Преподобный Андрей Рублёв. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015.
23. Мудрый ослик. Притчи для детей / авт.-сост. Ольга Клюкина. М.: Никея, 2017.
24. Беликов. Реабилитация (по мотивам рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре»). Пьеса // Калужский литературный альманах «Синие мосты». 2015. № 2.
25. Друг Константина Великого. Калуга. 2017.
26. Князь Владимир Красное Солнышко и Василько Зёрнышко». Повесть для детей из преданий Древней Руси. М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2020.
27. Хорошо нам здесь быть. Калужская Свято-Тихонова пустынь от XV века до наших дней. Калуга, 2019.
28. Повесть о Георгии Осоргине. Калуга, 2020.

Игорь КРАСОВСКИЙ

ИЗ КНИГ

О себе как о поэте лучше говорить стихами. Вернее, через сборники стихов. Их, написанных и изданных, у меня три: «КаША», «Вопрос времени» и «Опыты». Каждая книга отражает определённый этап развития меня как поэта и личности.

Так, наверное, и должно быть.

«...расскажу о себе только в третьем лице...» («КаША»)

Где-то прочитал — «русское национальное блюдо — каша в голове».

Любимое моё блюдо тогда, в нулевых.

К тем стихам, которые пишутся сейчас, приходил издалека: из детской фантастическо-сказочной прозы, из язычества, фольклора и псевдославян-ского словоплетения, из русского рока, с семинаров по драматургии в литературном институте.

С таким багажом я решил заниматься поэзией всерьёз:

«Над размазанным рельефом я витаю, словно дух.
Неприметен, маловнятен — авиатор Винни Пух.
То ли боги, то ли пчелы набирают высоту.
Перемазанную грязью тучку видят за версту.
В голове моей опилки, мёд Суттунга в животе —
поэтический напиток. Я за ним наверх пыхтел...»

И долгое время писал откровенно ёрнические стихи, которые нравились слушателям на общих выступлениях тем больше, чем пафоснее звучали «произведения» некоторых коллег по цеху.

В «КаШу» вошли стихи за десять лет. На 2014 год достойных публикации их оказалось чуть больше сорока, что свидетельствовало о большом проценте брака в моей «поэзии» — пришлось добивать книгу пьесой.

Тогда я сильно болел драматургией, может быть, поэтому так и вышло.

Да, большинство стихотворений в КаШе написаны с издёвкой, с жёстким юморком, но есть и другие, в которых за насмешкой можно разглядеть что-то поинтересней.

мотылёк

Он руку до рта дрожащую не донёс, расплескал,
расплакался и утёрся засаленным рукавом.
Мелочь в чужих карманах нагло просил, искал,
и до аптеки первым, как будто кто гнал его.
А после было так весело идти домой с пузырьком,
чтобы дома на час, на десять минут побыть мотыльком.

Весь этот период с 2004 по 2014 год творчески пришёлся на драматургию, из неё я перетащил в стихи наблюдения за людьми и диалоги между ними. В сочетании с многолетней службой в театре кукол (наблюдение и проживание) драматургия добавила персонажам сюжетных стихотворений жизни и достоверности.

В поэзию я тащил весь опыт, накопленный в разных сферах деятельности. Участие в спектаклях для детей поспособствовало развитию некоторой непосредственности при работе над взрослыми темами, занятия фольклором научили внимательно относиться к звукописи, изыскания К. Чуковского в детском словотворчестве позже дадут мне ощущение слова как смысла, а строки как непротиворечивого соединения смыслов.

Всё это будет потом, пока же (в «КаШе») стихи для меня — игра, способ самовыражения, способ понравиться, способ получить одобрение за неплохое составление строчек в столбик.

Я пишу о том, что хотят слышать, пытаюсь встроиться в действительность, но не пытаюсь в ней разобраться.

На этой улице дома давно не красят.
История, наверное, знакома?
Выводит мелом грустный первоклассник:
«Сдесь никагда нибудит падругому»
Скрипят негромко ржавые качели,
сушилка с разноцветными трусами,
висящими которую неделю,
стоит. Привычно радио гнусавит
о чем-то неразборчиво и нудно.

Во всём предрасположенность к покою
по линиям мужским и женским. Будни
здесь подменили праздники собою
исподтишка — никто и не заметил.
Здесь с каждым днём спокойнее и тише:
течёт вода, растёт трава, стареют дети.

Немеют пальцы, первоклассник пишет.

«...тем не менее, это и есть настоящее» («Вопрос времени»)

В этом сборнике (2014–2017 гг.) были собраны рифмованные размышления о времени и о себе.

О времени как о периоде существования человека, об особенностях прошлого и настоящего, которые привлекали моё внимание, о людях и проблемах сегодняшнего дня.

Иронии здесь гораздо меньше, а если она и присутствует, то, скорее, как некая защита, маскирующая всю серьёзность наблюдаемого.

В тяжёлый год тащи домой перловку.
Побольше круп! Хорошего не жди,
передают: в четверг бомбардировка,
переворот, плюс 35, дожди,
приход антихриста, египетские казни —
прогноз авторитетного спеца
всё более и более бессвязным
становится. Не стану отрицать
(я ж не слепой) того, что в воздухе витает
предчувствие (хотя бы) беспокойств,
брожений в обществе. Ну, всякое бывает.
Так Уроборос пожирает длинный хвост,
судьбу, смирение, цикличность утверждая,
в противовес всеобщей суете.
Красиво написал, с глубоким смыслом. Да, я
могу, когда хочу. Сейчас вот захотел.
Продолжу проще. Просто лучше проще —
Кипучий случай! Штопаная ять!
Мы каждый день планируем наощупь,
так бы..., так е..., так бу... Чего паниковать?

Сборник получился не то чтобы личным, но тесно связанным с моими переживаниями в тот период и достаточно самокритичным. Ведь, размышляя о времени, нельзя обойти такие его особенности, как скоротечность и конечность для отдельно взятого человека, для некоторых географических пространств и объектов — отсюда ощущение своей

невеликой значимости, отсюда снова ирония и издёвка над попытками задержаться, остаться во времени через поэтическую деятельность.

Пятнадцатого во вторник,
скорее всего, в обед,
очередной пылесборник
Закончит писать поэт.
Пересчитает странички,
перечитает, вздохнёт,
найдёт своё самое личное,
из сборника уберёт.
Проверит, точны ли даты,
сверится с дневником,
вспомнит о том, что когда-то
сочинял ещё школьником...
Пожалеет о том, что конечна
тетрадь, что себя превзошёл,
что томик стихов навечно
ляжет пылиться в стол.
Подумает: «Бросить может?
Уйти, может, на покой?»
Пересилит себя и всё же
сядет писать другой.

Как — то упускаю любовную лирику...
А что в ней?
Всё те же хиханьки-хаханьки.

Не просто так купил я шоколадку.
Не просто так с собой её ношу —
причин немало. А присмотришься, в остатке
немного их... О главной напишу,
о ней (нет, не о плитке 100 процентов
какао, серебристая фольга),
о барышне из бара. Я клиентом
последним был. Полночи напрягал
бедняжку разговором и стихами,
бездарно выдавая за свои
стихи А. Блока о Прекрасной Даме.
Тогда уже я понял — предстоит
приобретать презент, как извиненье
за хорошо подвешенный язык,
дабы развеять всякие сомнения —
я не один из местных забулдыг,
я, между прочим, из другого теста!
И в доказательство порой шуршу фольгой
от шоколадки. И, возможно, в знак протеста
я до сих пор ношу её с собой.

Тогда было много и баров, и барышень, и «поэтического образа жизни», и ощущения одиночества и стихов.

И всё яснее становится — ирония не спасает, сколько ни маскируй реальность, сколько ни играй словами, смешнее не будет.

GAME OVER

Подойди к сироте, расскажи сироте,
как ты в летнем лагере к мамке хотел,
как скучал по любимой приставке своей.
Хотя, впрочем, откуда он знает о ней?
Как забытый в деревне семь дней ждал отца,
наблюдательный пункт сколотив у крыльца,
пел; «Пусть папа услышит, пусть папа придёт».
Ты его понимаешь, он тоже поймёт.

К старику подойди, расскажи старику,
что и ты на своём, пусть недлинном, веку
повидал целый мир и не только людской,
как ты орков рубал за эльфийской рекой,
как спасал Вашингтон, выбиваясь из сил,
как потом в World of Tanks вражьи танки давил,
заслужив за тот бой золотую звезду,
пусть не в сорок втором, в позапрошлом году.

Подойди к инвалиду, ему расскажи
про свою тоже крайне тяжёлую жизнь,
что она по-другому сложиться могла б,
только ты с ранних лет был физически слаб
и беспомощен, часто болел ОэРВИ
по весне, как, забыв про свой конъюнктивит,
просматривал ленту чужих новостей,
ненавидя весну и здоровых детей.

Помолчи и в молчании скорбном постой
там, где лежит друг придуманный твой.
на десятом участке, на необжитом,
покоится под кривоватым крестом.
Вы, возможно, могли бы дружить по сети…
Он уже не грустит, ну а ты погрусти.
и спроси, поправляя упавший венок;
— Кто тебе сохраниться и выйти помог?

«…знакомый тёплый свет исходит снова» («Опыты»)

А потом начались опыты.

Опыты со словами, с построением текста — работой над формой.

В связи с этим, немного о подражании и преемственности.

Иногда ловил себя на подсознательном заимствовании — у пишущих друзей — разумеется, мне это не нравилось, хоть и получалось случайно.

Зная за собой склонность неосознанно перенимать манеру поведения интересных мне людей, боялся (и боюсь) этого в творчестве, поэтому стал анализировать поэзию нравящихся мне авторов, чтобы этого избежать, игнорируя особенности творческого почерка, но порой используя ими созданные приёмы как общее достижение поэтической (технической) мысли: «прозаичность» Бродского, «скачущий размер» Маяковского, «приметливость» Саши Чёрного и др.

А главное отличие от классиков, которое я принялся развивать в творчестве — привязка к своему сегодняшнему дню. Частенько это «сегодня» сдобрено ностальгией по недалёкому прошлому, но для меня всё равно это взгляд из «настоящего».

Сопричастность

Прямые труб остывшей теплотрассы
прогнулись, оттрубив. Никто не обживёт,
не возвратится в эту глушь, за насыпь
из пыльной утвари. Безвременный уход
больших людей: прокладчиков железных
дорог, строителей — взамен, борщевиком
в рост человеческий утыканная местность;
осколки оргстекла; погнутый мелкий лом
и крупный лом — ржавеющий, колёсный;
запаутиненные плотно — снизу вверх —
проёмы зданий, вымерших до сноса.
Процесс необратим. Последний пионер
разбит на гипсовые части, но обломки
его по-прежнему надёжно берегут
послания для будущих потомков,
давно не появляющихся тут.

«Опыты» задумывались как сборник экспериментов, где я хотел попробовать разные способы выполнения конкретных задач, выражения конкретных мыслей в соответствующей форме. Это была внутренняя работа над собой, над стилем, пробы чего-то для меня нового, проверка себя, прежде всего, как ремесленника.

Появилось много пейзажей…

Прошлым летом

Занавески в горошек лениво колышутся — шшухх…
под ветреный шёпот о благоприятной погоде,
под таканье ходиков, под жу-жужжание мух,
под низкое «му-у-у» со двора растекается полдень
по копнам приземистым. Видно одну из окна,
накрытую плёнкой на случай дождя обложного.
В полиэтиленовой шляпе-панаме копна
смешна, и сама по себе, и как слово — как слово,
вошедшее в отпуске месяце в мой обиход
в месте, где шифер надколотый запросто сложен
под яблоней; где мотоблок тарахтит; где хлопот
полон дом, огород; где нет-нет; где нет-нет, да и тоже
увлечёшься хоть чем, хоть фигурной косьбой по траве,
выминая ногами круги на лугах и овалы
из мятлика, из аржанца. Здесь во мне травовед
доморощенный заговорил, здесь я знаю так мало
о том, сколько вёдер в колодце (не сколько воды,
а сколько вёдер); о том, где — в хлеву или в хлеве? —
довольнее сено жуётся; и кто проходил
еженощно по полю и свежий высаживал клевер.

…и людей.

дружить

«Теснее… вместились… снято!»
На память. Фотограф не я —
меня нет пока. Восьмидесятые.
Дедовы сын и зятья
городские в деревне. Их юность:
дяди Паша и Саша, отец,
крёстный с 12-тиструнной
гитарой, Сергей военспец,
в будущем — дядя Серёжа.
Самый старший. С его похорон
вернулись вчера. Он прожил
беспокойную жизнь. Погребён
без воинских почестей, мирно,
по-семейному. Все, кто смог
приехать — простились. Обширный
инфаркт миокарда. Венок
«от родных» нёс лысеющий крёстный:
автомеханик, рыбак,
филателист — серьёзно,
у него жизнь сложилась так.

У отца — по другому. Дяди
Саши давно нет в живых,
Паши тоже. Чего же ради
я рассказываю о них?

«Теснее… вместились… снято!»
Из нулевых шесть рож.
Свадьба Вадика. Мы поддатые.
(Вадик совсем хорош)
Я свидетель — лента свидетеля
болтается на плече.
Лёшка Феде отвесил пендаль.
Оба ржут в кадре. Вот зачем
мне понадобилось чуть выше
описывать мало кому
интересных людей — они же
наше завтра возможное, у
них впереди было время
такое же, как и у нас.
Наше время по той же схеме
расходуется сейчас.
Отчётливо представляю,
через пару десятков лет
сына (Мишу? Илью? Николая?),
которого пока нет,
но он будет и будет — уверен —
точно так же сопоставлять
и готовить себя к потерям
неизбежным, храня и для
надежду наивную: выйдет
иначе на этот раз!
Вы только подольше живите:
Витя, Ромик, Макс, Женя, Стас…

Вообще, для этого периода (книга вышла в 2019 году) в стихах всё больше появляется мира и всё меньше меня. Плохо это или хорошо, я не знаю — читателю виднее. Больше стало светлых стихов, как будто всё хорошее, что попадалось на глаза, я старался сделать фундаментом для другой (возможной) реальности.

альтернатива

Усатый предприимчивый шашлычник
готовит мясо. Старенький мангал
блестит надраенный. Сегодня необычно
навязчив аромат. Никто не устоял
из посетителей кафе. Легко под пиво

для пап потеющих, под сок для их детей
и жён расходится шашлык. Вокруг красивых
наряжённых людей полно. К обеду опустеть
успели тесные квартиры. В них тесниться
не хочется. Погодка удалась
у уличных скульптурных композиций
сниматься вместе, будто в первый раз
их обнаружив. Множество открытий
ждёт часа своего. В такие дни
из связки самый ГРОМКОговоритель
транслирует мелодии — они
воскресное гуляние народа
сопровождают, благостный настрой
поддерживая в нём. Пока культурен отдых,
сотрудники патрульно-постовой
по театральной тумбе изучают
репертуар сентябрьский. Пока
цензурна речь, пока часть небольшая
гуляющих « постописят» никак
себя не проявляет, ловко прячась,
продлится праздник, выданный на всех,
пока воздушные шары из рук ребячьих,
как настоящий фейерверк взмывают вверх.

Это далеко не всё, о чём можно было бы написать, но захотелось остановиться. Анализировать свой творческий путь для меня в новинку. Может быть, я заблуждаюсь относительно каких-то моментов, ведь я предвзят, а предвзятый человек необъективен, но в данную минуту всё вышеизложенное для меня верно.

И, да — проза совершенно не мой конёк, поэтому, в завершение, стихи из будущей книги «Необходимая вода».

зарубежное

Выбрался за новенькими видами
на неделю. Носом поводить
за границей. Еду не завидовать,
любопытства ради. Не один,
при жене. На пару обо всём
жарче спорится (о сервисе и пр.).
— Обрати внимание на дом.
— Дом, как дом. Навскидку, сто квартир.
Тоже люди, суетятся так же. Что ещё?
Непонятными словами говорят,
в остальном, я разницы большой
не заметил.
Дни и дни подряд
обсуждаем пройденные площади,
путаясь в названиях чудных.
Подустал немного. О хорошем —
помню сны, точней, один из них,
где я, в очередь длиннющую размноженный,
отвечаю хором, невпопад
на вопрос работника таможни:
— Цель приезда?
— Возвращение назад.

Игра

Под выгоревшим конусом гриба
В песочнице ударная бригада
Чумазых разновозрастных ребят
Ладонями трамбует автостраду.
Я с детских лет не трамбовал таких —

По ней легко на тоненькой верёвке
Потянется колонна грузовых
Автомобильчиков к далёкой остановке,
Где выкопан огромный котлован
Стараниями маленьких совочков,
А к вечеру по плану будет сдан
В эксплуатацию микрорайон Песочный.
Откроется конфетный магазин,
Через дорогу — зоопарк и школа.
Осталось только довообразить
Большую жизнь счастливым новосёлам.

маленький человек

Я важный
(бормочу),
Я важный, честно.
Я к сорока познал…
Я к сорока
имею мнение,
имею интересных
соображений много.
Изредка
озвучиваю их —
никто не спорит.
Да даже если спорит —
всё равно.
Я при своём.
Я в домике,
в котором
на самом деле грустно и темно.
Но я уверен
(глупенькая вера)
в своей значительности.
Жаль, что мой мирок
не то чтобы удобного размера,
всё чаще давит.
Вылупляюсь.
Ок,

Я не один такой.
Теперь я понимаю,
и я стараюсь принимать себя,
посредственность свою переживая,
любя её,
скрывая, но любя.

Мокрое

Унылый везунчик припоминает случай:
«Тогда я легко мог погибнуть и не погиб…
Сам бы не мучился, близких людей не мучил.
Всем было бы лучше».
Речь прерывает всхлип.
О собственной жизни заплаканные рассказы
сумбурны, как правило, неубедительны:
«Там такое течение быстрое, что водолазы
искали бы долго, а я туда на спор — нырь!»
Послушно рассказчику память становится гибкой:
« А если, на самом деле, меня уже нет?
И ошибки мои, они… не мои ошибки,
а я настоящий, не найденный, где-то на дне
лежу».
Затекают за шиворот крупные слёзы.
Паренёк на скамейке по капле сливает года,
и обиженным мальчиком шепчет, на полном серьёзе:
«Это всё не со мной…не со мной…»
Начинает рыдать.
Себе разрешённая слабость не раз помогала
хотя бы смириться и снова поможет:
« Пройдёт…
Само рассосётся…
Наладится мало-помалу…
А пока не наладилось, я подожду»
И ждёт.

МИМОХОДОМ

«Не вызывайте «скорой»…
Ща…Ща я… Сам…Хва…тит…»
За палаткой ища опору
встать пытается батя
одноклассника.
То ли ногу
подвернул, то ли шёл поддатый,
торопился, а к дому дорога
не та, что была когда-то,
он тоже не тот.
Или тот же?
Куртка дутая из Китая,
усы, хрипотца — не сложен
в описании, узнаваем.
Для него я: «Эй, зёма, зёма,
есть полтинничек до получки?»
Меня мелкого он не помнит,
так, наверное, даже лучше,
потому что, где я, там: бизнес;
с Памелой глазастой постер;
сынулька ещё не вырос,
не съехал — всё было просто
и ясно. Не подпуская
к себе незнакомых прохожих,
упавший бормочет «ща я»,
но сам подняться не может

штрихами

По календарю — трудиться после
послепосле(…)завтра. Спит жена.
До утра закрылось «Пиво в ро́злив»
этажом пониже.
Ти-
ши-
на.
Люди — по домам, не слышно шума
обязательного. Редкие часы
позднего покоя, будто умер
шум:
не дребезжат басы
из заниженной тонированной «Лады»;
в перебранках перебравших пар
пар весь выпущен.
Вечерняя прохлада
ощущается, как долгожданный дар
убеждённым домоседам.
Свежий воздух
наполняет комнаты и сны
жены,
чуть-чуть смягчая високосный
привкус застоявшейся весны.

!ПОСЛУШАЙТЕ! 10 лет

«Вам!», «Нате!», «Послушайте», «Во весь голос», «А вы могли бы?» — лист в клетку был исписан и порван на полоски с названиями стихотворений В. В. Маяковского. Я и Виктор Яковлев (сооснователь и бессменный звукооператор музыкально-поэтического марафона !ПОСЛУШАЙТЕ!) выбирали название для нового проекта ТИОГ «Прометей».

Творческая группа «Прометей» была создана молодыми активистами для проведения музыкальных фестивалей. Я уже точно не помню всех поимённо — прошло чуть больше десяти лет — но стоит, пожалуй, выделить главных причастных к рождению марафона: это Александр Лукьянчук, Виктор Яковлев, покойный Евгений Павловский, ну и я.

Я на тот момент очень хотел какого-то молодёжного поэтического движения. Саша предложил устроить большой концерт с поэтами на базе стадиона «Маяковский» — была такая возможность — и мы решили попробовать.

Именно поэтому — из-за места проведения — !ПОСЛУШАЙТЕ!, и, именно поэтому — из-за фестивальной направленности — марафон (как забег на большую дистанцию).

Участниками первых марафонов были знакомые молодые поэты и музыканты из тусовки. Тогда, в 2010 году, подобные поэтические сборища случались довольно редко, поэтому выступающим был любопытен такой формат, а вот зрителей к нему пришлось приучать.

«Прометей» просуществовал недолго, под его крышей мы провели второй марафон, уже в кафе «На Набережной» — опыт со стадионом

оказался не слишком удачным в плане соотношения «площадка — зрители». Зрителей для подобного мероприятия собралось достаточно, но на трибунах стадиона они смотрелись одиноко.

Отпочковавшись (в силу разных причин) от «Прометея», мы с Яковлевым сохранили за собой марафон, и далее он кочевал по разным местам: кафе, арт-студия, бар, ресторан, библиотека, чайная — мест проведения за свою историю марафон сменил много.

На Викторе было техническое обеспечение, я занимался выступающими. Постепенно к марафону подключились представители старшего поколения: А. Трунин, М. Улыбышева, Д. Кузнецов. !ПОСЛУШАЙТЕ! стал приобретать солидность. Пользуясь связями в литературном институте, я приглашал на марафон поэтов из других городов. Как-то раз к нам приехали три студентки на следующий день после своего выпускного, добавив в географию !ПОСЛУШАЙТЕ! Питер, Сергиев Посад и Пермь.

Были налажены связи с калужским творческими объединениями, с литературной студией «Вега» из Тулы.

Мы всегда сотрудничали (и сотрудничаем) с представителями разных жанров, как поэтических, так и музыкальных. Рэп, хип-хоп исполнители, барды, рок-команды, андеграундные поэты и приверженцы классической школы находили на наших мероприятиях новую аудиторию, знакомились с творчеством друг друга.

Самый долгий марафон шёл около четырёх с половиной часов, в одном из полуподвальных кафе, собравший больше двадцати выступающих, а зрителей никто и не считал. Люди приходили, уходили, возвращались обратно.

Кстати, на месте этого кафе сейчас вещевой магазин, и это я к тому, что за свою историю !ПОСЛУШАЙТЕ! пережил множество заведений, в которых когда-то проходил.

К сожалению, поскольку организацией марафонов, в основном, занимаемся мы с Виктором Яковлевым, они проводятся не так часто, как хотелось бы. С появлением в нашем тандеме Инны Тепловой с 2017 года стало попроще.

В 2019 году вышел одноимённый сборник стихотворений участников марафона.

В 2020 году музыкально-поэтическому марафону !ПОСЛУШАЙТЕ! исполняется 10 лет, хотелось бы отметить эту дату каким-нибудь громким выступлением, но в сложившейся ситуации сделать это будет нелегко.

Но, всякое может случиться.

Порядковый номер у марафона тринадцатый, так что, чем чёрт не шутит.

Вячеслав НЕКРАСОВ

ИГРУШЕЧНАЯ ГАРМОНИКА

Отзвуки автобиографии

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в Сибири, в городе Омске. В 1981 году закончил ВГИК. С 1983 года член Союза художников. График. Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее.

С начала 90-х жил в Петербурге, где и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка», а также нескольких книг прозы.

С 2016 года живёт в Калуге.

Сибирь. Начало июня. Художники сидят в одной из мастерских союза, выпивают. Среди них поэтесса незнакомая, Бог весть откуда взявшаяся. Она спрашивает вдруг задорно:

— А кто-нибудь видел вчера в деревьях красные искры?

Розовые бородачи пожимает плечами… и продолжает о своём… Что Малёк вчера, что Жаса… что Бабуля. Бабуля — это «он», мужчина, и он вчера сказал известному московскому художнику: «Ты очень маленький карлик! Двадцатого века. Недоразвитый рахит», а это было только начало вечера…

Странно, но я вдруг припоминаю, что видел вчера эти красные искры… Явно видел… хотя сейчас трудно это представить. Даже трудно поверить, что они действительно были.

Через много лет (в один прекрасный день под северной яблоней) я сам почти неожиданно для себя стал поэтом. Получается, красные искры в тот день в том далёком сибирском городе видели только поэты…

Вспоминаю начало… мне было тогда 42 года. Мой стол завален бумагами. Я пишу стихи во сне. Пишу, мешая цемент. Пишу, когда кошу низкую северную траву (скоблю горку). Пишу, выходя из леса с огромным тюком травы на спине, а рядом идёт маленькая коза… Мы идём вдвоём сквозь оловянное небо… по густым короткошёрстным холмам…

Кому я писал… не знаю… мне казалось, что воздуху нужны мои стихи. Из каждой прогулки я приносил пару строф. Женщина кричала мне вдогонку:

— Без четырёх строчек домой не приходи!

Созерцание, слушание… движения стихий — неба, ветра, снега, света… Это стало важно.

Я стал всматриваться в лица людей, и (я бы сказал — в лица) животных… Это стало необходимо.

Перед сном я, бывало, прощался с кошками — Муркой и Заплетайножкой, заглядывал в их глаза… в которых отражался оранжевый свет парников фирмы «Лето». Этот свет отражался и в ночном небе. Поэтому над деревней в ночи всегда висело низкое тускло-оранжевое облако, освещая наш быт. Было видно — куда кто пошёл. В основном, правда, Толик ходил к Сэму за маленькой.

Говорят в сказках — «он стал понимать язык зверей». Я, кажется, стал понимать язык людей. Видимо, они стали мне более интересны. Поэтому для меня звучит в сумерках (за забором) голос тёти Любы:

— Кот, ты чего молчишь? А?

А вот, поднимается в горку мимо нас тётя Шура, несёт мешок:

— Ходила на могилку к маме, сирень поставила. На обратном пути набрала на свалке свёклы… А вы чем собаку кормите?

Я вижу мысленно строение… странное… чудом не расползающееся, не распадающееся на фрагменты. Это баня Толика (соседа моего). Стою около, качаю воду. Сбоку появляется маленький, лохматый вятский человек Сашка. Возле ног возникает пёс Мухтар (Мухомор).

Сашка показывает на него:

— Вот, пожалуйста вам! Хозяин уехал, бросил. Ухаживайте теперь за ним!.. А что сказал Маленький Принц? — я с удивлением поднял глаза… — Мы в ответе за тех, кого приручили на фиг!

Снежинки нежно касаются лица, щекотят лоб и щёки… я забываю и Сашку и Мухтара, и Любу, и её кота. Когда-то я буду писать о них. Потом. А они где-то во мне будут жить. Будут жить во мне и Толик и Корнеич. Будут жить эти бесконечные слоистые, узорчатые снега.

Так же, как живёт во мне золотой свет детства, золотой свет забытой — той, далёкой — русской жизни, золотой свет радости. Он возникает где-то… словно звуки маленькой игрушечной гармоники с колокольчиками.

Эти звуки — моя творческая программа.

Я их слышу.

Из сборника «СЕМЕЧКИ СИНИЧКАМ»

ПЕТЕРБУРГ. КАРТИНА ПЕРВАЯ. УТРО

Сплю… Окно выходит в летний двор — второй двор, проходной. Здесь здания невысокие, светлые, напоминают русскую провинцию (она мне и снится), но, с другой стороны, это всё-таки каменный мешок… и вот, я слышу… в мою дрёму — в русскую провинцию — на втором этаже вплетаются разговоры проходящих…

Двое. Уверенный голос:

— Моя фамилия Доберман!

Слегка заискивающий голос:

— Извините, а Доберман это… немецкая фамилия?

Уверенный голос:

— Это чисто русская фамилия!.. Доберман!

Я вдруг вскакиваю — посмотреть на этого Добермана, но они уже ушли — завернули за угол — там узенький каменный коридорчик в соседний двор… Ложусь обратно…

Ещё два голоса. Первый:

— 27-й, он ведь проходит по среднему проспекту, а потом заворачивает к нам?..

Второй:

— Ты что, дурак что ли?..

— Но он же проходит мимо аптеки, потом заворачивает…

— Ты что, дебил что ли?..

Уходят.

Теперь я слышу копошение, шуршание, кряхтение, звяканье, кряканье... междометия... и, наконец, членораздельную речь:

— Закусывай! Смотрит он... У нас деликатесов нету.

Однако поздно уже. Город на Неве живёт полной жизнью. Пора вставать...

Петербург. Картина вторая. Дом

Тусклый, старинный, высокий дом. Солнце садится. По крыше бегают полумузыканты и полуйоги. Внизу ходят — футболисты, полуфутболисты, бомжи и бультерьеры. Ну и, конечно, — профессора, певцы и бывшие борцы вольного стиля.

Я в своей комнатке под крышей, похожей на длинный шкаф, читаю акафист — «Слава Богу за всё». Когда дохожу до слов «Благодарю Тебя за преданность животных, служАщих мне», из коридора в комнату очень осторожно входит Роня (маленькая, крепкая дворняжка).

Она тихонько забирается на диван (куда ей нельзя) и... делает вид, что уже давно здесь лежит и спит... Что иначе и быть не может.

Мой младший брат Юра тоже лежит на диване; он смотрит Роню, на всё вокруг, слушает и размышляет... Когда над нами по крыше пробегают полуйоги, он поднимает лицо и философски улыбается. Ему представляется его будущая жизнь в этом городе... которой не будет.

Афганская борзая

И почему я иногда вспоминаю эту афганскую борзую?.. Эту собаку с умными глазами в Питер привёз кто-то (хозяева купили более крутую), и я (а я тоже только появился в этом городе) должен был передать её моей давнишней подруге — очень худенькой, очень волевой и очень одинокой актрисе, жившей в одном очень тоскливом месте на слегка жутковатой окраине этого города.

С актрисой, как водится, возникло... размышления, опасения, капризы... и я бродил с собакой вдоль тусклых, холодных каналов. Ненужные никому в этом сером, пустом пространстве — ни я, ни она. Потом её кто-то всё-таки приютил, а позже и меня, одна условно добрая женщина.

Зверь. Петербургская история

Она балерина. Он музыкант. Ему нужно ехать куда-то в Европу играть. Ответственный концерт. Она напилась пьяной, звонит:

— Приеду! — Не приезжай! Я собираюсь! Нет времени! — А я приеду!! — Приехала. Он вытолкал её из квартиры. — Я же тебе говорил!!! Всё! Уходи!

Вышла во двор... Пыльные стены. Серая ночь... Стоят бледные, лобастые мужчины, руки в наколках.

Она, повернула голову на балетной шее:

— Ребята, а у вас есть нож?

— Есть... А зачем тебе?

— Шины проколоть тут одному гению.

— На... Вернёшь.

Ушла в темноту... возвращается...

— Вот...

— Сколько колёс проколола-то?

— Все четыре! И запаску.

И пошла, раскачиваясь.

Мужчины посмотрели ей вслед...

— Ну... ты и зверь...

Потом он звонил... она никогда не слышала, чтобы так кричали... А потом он играл. Где-то в Европе.

Женщина и полмиллиметра

Эта женщина... если из пивной в Казачьем переулке города на Неве, из подвала, выползет какой-нибудь алкоголик с сизым носом и стоит, отплёвываясь и осматриваясь, — кого бы послать подальше... то она, разговаривая о прошлом или будущем Вселенной, о средневековых гобеленах, о скифском золоте, пройдёт именно мимо него.

Мимо его носа своим вытянутым носом — на расстоянии в полмиллиметра, не заметив его вообще. И оставив в некотором недоумении...

Я думаю, что, покачавшись ещё какое-то время, он плюнет и спустится по ступенькам обратно, к своим товарищам...

Женщина и её певец

Мало кто знает, но в Петербурге существует такой день, когда почитатели певца Валерия Агафонова собираются у его квартиры и бродят под окнами и в парадной, и разговаривают, и слушают его голос, его

песни, (может быть громковато) звучащие на всю улицу. Каменную, маленькую улицу. Жёлто-серую.

А голос этой женщины я слышал по радио. Была передача с ней о её муже — Валерии Агафонове — и я немножечко влюбился в её голос и немножечко в неё саму. В её слова. В её мысли.

И вот я стою в парадной один и смотрю на большие щиты с фотографиями певца. Слушаю его голос. Неподалёку стоит женщина, и я замечаю, что на фото рядом с певцом тоже она. Только молодая совсем. Его жена?

Я решаюсь спросить:

— Извините, а вот на этом фото с Агафоновым — вы?

Она улыбнулась:

— Уже трудно узнать?..

Я смутился:

— Нет-нет, что вы! Это я... для уверенности...

Тут кто-то вошёл, кто-то вышел, и я оказался на улице... Выступали студенты консерватории... пели песни, которые когда-то исполнял и Агафонов... Голоса были сильные, но никто из них, кажется, не понимал — что такое песня... И что такое метель. И что такое дорога...

Я послушал немного и решил уходить, но очень захотелось напоследок подойти к ней и сказать:

— Знаете, по-моему, здесь только один певец — Валерий Агафонов, и только одна красивая женщина — это вы...

И уйти... Но тут появились мои знакомые, окружили меня и неловко стало при них говорить... Я ушёл. Посмотрев на неё напоследок...

А жаль!..

Звук удаляющегося автобуса

Пригородный пейзаж. Утро. Бежим с ней на остановку по первым льдинкам. Хрустим.

Я возбуждённо:

— Слышишь?.. Звук приближающегося автобуса!

Она спокойно:

— Нет, это звук удаляющегося автобуса.

Я приостановился, поражённый:

— Как?.. Ты отличаешь звук приближающегося автобуса от звука удаляющегося автобуса?..

Она:

— Элементарно, Ватсон! Я видела, как он удаляется.

Маленький, тёмный мужик

Петербург. Иду по Казачьему переулку. Переулок тёмный, смурной, безлюдный. Из мрачного серо-рыжего здания бань выходит маленький мужичок лет примерно шестидесяти (а, может, больше), коренастый, и мы с ним как-то сразу пошли с одной скоростью, в одном направлении, тёмные среди тёмных зданий.

Наконец я повернул голову:

— Ну как баня?

Он глянул на меня:

— Да ничего. Хотя раньше было лучше. Раньше мы здесь часто парились, когда я борьбой занимался. В городских соревнованиях участвовал...

— А какой борьбой?

— Вольной. Давно это всё было... Хотя я и сейчас сто килограмм легко через голову кину.

— Да?

— Без проблем.

— Ну, ладно, мне туда.

Прощание с Петербургом

Иду по Среднему проспекту, как пароход на всех парах, несу две большие, длинные сумки. Мышцы предплечья стали совсем деревянными, но мне это даже приятно. Я уезжаю из этого города! Наконец-то!

Какое счастье! Как надоело всё! Это я раньше думал, что петербуржцы — это какие-то особенные люди... И у кого, интересно, язык повернётся назвать адмиралтейство архитектурой? И кто, вообще, нашёл какую-то красоту в этих мрачных, грязно-жёлтых дворах?

— Извините... — вдруг раздался голос...

— Денег нет! — сказал я, не глядя.

— Нет, я ничего не прошу, — передо мной стоял высокий, худой мужчина (типично петербургская внешность), — я, наоборот, хочу предложить... Я вижу, извините, — вы какой-то напряжённый... Даже очень напряжённый. Не хотите ли немного выпить, расслабиться?..

Я недоверчиво посмотрел на него...

— Вот, видите, бутылка... вот пробка магазинная. Вот, смотрите. Давайте! Вам надо расслабиться. Это же очевидно! Уезжаете куда-то?

— Уезжаю... Фу-уф!.. Ладно... Я, действительно, устал!..

Мы сели тут же, на какой-то невысокий чугунный заборчик, прямо на улице. Мимо шли люди. Я поставил сумки, достал из кармана

плитку шоколада, вздохнул… Говорили откровенно и быстро — о нём и обо мне, говорили недолго, — я сказал:

— Всё, пора.

Встал, посмотрел на него:

— Благодарю вас!..

И пошёл… но уже спокойней, с некоторой даже как бы теплотой в груди… Небо казалось уже не таким серым… где-то даже пробивалось мутное солнышко… Прощай, Петербург!..

Ушедшие запахи

Когда я прижимаю к лицу чистое полотенце, я чувствую в нём какие-то отзвуки запахов… И сколько возникает неясных воспоминаний, — странных, забытых… Солнечных! Счастливых!..

Ушедший запах, он в чём-то приятнее, чем свежий. Толькоштный. Так думаем — я и одна японская придворная дама, четвёртого, кажется, века.

Может, конечно, ещё кто-то, но я не интересовался этим глубоко. Не проводил опросов на улицах. Не звонил в квартиры. А интересно было бы…

Вот, допустим, я нюхаю нагретую солнцем масляную краску двери… звоню…

— Извините, как вы относитесь… к ушедшим запахам?

Дверь открывается…

— Удивительно, что вы пришли! Так странно!.. Я как раз об этом думала…

Или другой голос (хрипловатый) из глубины, слышны шаркающие шаги…

— Заходи, выпьем, старик! Обсудим! Это очень важный вопрос!

Роза золотая

И Сибирь и розовый вечер, и центр города, и запах пирожков, и огромные окна мастерской, и закат из туго натянутых золотых полос разной ширины и ворсистости. Разной лохматости и разной выделки.

И поэт читает мне Есенина. С воодушевлением и напором. И художник что-то говорит мне на ухо. С воодушевлением и напором.

И сигаретный дым плывёт в слоях заката. Я крепкий парень. Я умею слушать. Мне двадцать пять лет.

Поэт сидит напротив. Крупный, кряжистый. Костюм его играет красноватыми прожилками. Красные прожилки искрятся и на щеках.

И по носу. И по уху. Оно (ухо) вспыхивает вдруг — и горит ярко-ярко красным.

Розовые пятна на стене разгораются и гаснут… и снова разгораются… На столе стоят три бутылки тёмного марочного вина.

Читает хорошо… И голос его (как я потом понял) очень похож на голос самого Есенина. Мягкое «г», сила и нежность… И хрипловатость. И предчувствие, что жить осталось так мало…

— Голубая кофта, синие глаза, никакой я правды милой не сказал…

— Ах, как много на свете кошек! Нам с тобой их не счесть никогда. Сердцу снится душистый горошек, и горит голубая звезда…

— Голубая да весёлая страна, честь моя за песню продана. Ветер с моря тише дуй и вей, слышишь, розу кличет соловей?..

Художник, седой, всклокоченный, худой, как старый горец, кивает:

— Да, да!.. Здорово!.. Красиво, Володенька!.. Орёл! — и продолжает мне на ухо:

— Вот, так мы живём, Славусик! Вот так мы и живём! Но вот когда ты женишься, — будет тебя жена пилить, а то и бить…

— Да ну…

— У нас тут одного жена бьёт. Выскакивает из-за угла, как хулиганка, и бьёт — прямо по морде кулаком! Как бандитка настоящая! Прямо в рыло интеллигентному человеку. Вот это реальная жизнь! Да-да, Володенька, читай-читай! Мы слушаем! Читай, дорогой! Читай, мой хороший! Мы со Славусиком слушаем тебя!

Поэт выпивает ещё вина и властно раскрывает ладонь…

— Слушай, Саня!! Слушай, я тебе говорю!.. Ещё одно: Прощай, Баку! Тебя я не увижу, теперь в душе печаль, теперь в душе испуг…

Художник влюблённо смотрит на поэта и одновременно бурчит мне краем губы:

— Сейчас ты ещё вольная птица! Но скоро ты поймёшь. Узнаешь, как живут люди!.. Радуйся пока!.. Пей вино, читай стихи… Дыши! Ходи по улицам!..

Тут поэт возвысил голос, пронзительно глядя на художника. Он с силой сжал большой кулак…

— Прощай, Баку… прощай, как песнь простая!.. Последний раз я друга обниму!.. Чтоб голова его… как… Р-О-З-А!.. З-О-Л-О-ТА-Я!.. ДА СЛУШАЙ ТЫ, БАЛДА!!! Кивала нежно мне… в сиреневом… дыму!..

Пастораль. Весенние сцены

Чудесный и небольшой русский город. Иду к подруге на дачу, прохожу место, где вдоль дороги, за густой растительностью, обычно располагаются добрые и весёлые люди — жарят шашлыки, или просто так выпивают, обсуждают жизнь. Пережидаю поток машин, слышу разговор…

Женщина:

— Что-то у тебя глаз такой масляный, располагающий… Ну иди, старый, я тебя поцелую!..

Затихли на минуту…

— И что это я тебя люблю так ненормально?

Мужчина:

— А любишь… как кобеля или как человека?

— Какой ты человек? Кобель ты и есть кобель!

То, что я знаю о ней

Бабье лето. Золотые листья. Навстречу мать с дочкой. Мать — очень красивая женщина лет сорока. Она говорит, внимательно глядя на меня… как будто вспоминая — кто же я такой… (а в этом городе многие на меня так смотрят):

— Я картошку покупаю в палатке возле дома.

Это всё. Прошла. Больше я её не видел и, скорее всего, не увижу… Мы прошли мимо друг друга, и всё, что я теперь знаю о ней… это то, что она картошку покупает в палатке возле дома. А как много, в принципе, можно было бы узнать!..

Открылся на короткий миг как бы некий портал в её жизнь, и она сказала из него, глядя на меня медленно и внимательно:

— Я картошку покупаю в палатке возле дома.

И всё. Исчезла навсегда.

Сиди тут

Еду в троллейбусе. Спиной по ходу движения. Женщина, напротив, встала и ушла. Я сел на её место — люблю смотреть вперёд. Но стекло передо мной оказалось заклеено рекламой… Сесть обратно? И вижу надпись фломастером на сиденье (которое я покинул) — СИДИ ТУТ. А… ну хорошо. Ладно. Понятно.

Очки, мухи и кошки

— Ну, где ты там? Иди спать.

— Сейчас! Ищу очки!.. Куда они подевались? Надо бы их положить на ночь в футляр, а то мухи засидят или кошка оближет…

— Какая, однако, фантазия у человека… В каком мире ты живёшь…

Для тараканов

Мама иногда прибегала ко мне в мастерскую, в свой обеденный перерыв. Очень быстро жарила мне цыплёнка табака и картошку на маленькой электрической плитке. Прекрасное время! Я был доволен.

А так как в мастерской водились тараканы, мама поставила по бокам плитки две маленьких тарелочки с белым порошком (ядом). Но чтобы никто не перепутал это с солью, она над каждой тарелочкой прикрепила записку, написанную крупными буквами, — «для тараканов».

И вот её долго почему-то не было, и постепенно в тарелки каким-то образов насыпалась лапша и ещё какие-то крошки. Получилось, что еды в тарелочках с горкой. Я на них не обращал внимания — не до них было.

И вот, пришёл мой друг, небезызвестный в своей части города, Владимир Зайцев. Прошёл на кухню к раковине, моет руки, а сам между тем смотрит на плиту, на тарелочки, надписи над ними… улыбается:

— Какой гуманизм!.. Для тараканов!..

Лето и Зайцев

Бабьим летом Вовка предпочитал не работать, а философствовать, бродяжить, пить молдавское сухое вино, наблюдать жизнь… знакомиться с прохожими, иногда (под настроение) приподымать за одну сторону припаркованные машины…

От него до меня недалеко. Надо пройти одну старинную улочку с тёмными деревянными домами, засыпанную жёсткой, хрустящей листвой, особенно по канавам вдоль дороги.

Вот и сердце снова заволновалось… Бабье лето, свет пушистый проникает в каждую щель, в каждую дырочку в ставнях (и освещает там кружева на столе), в пестики и тычинки растений в огородах. В карманы пиджаков, в уши, бороды и глаза людей, смотрящих на тебя удивлённо.

Сердце ноет, тает… Почему?.. Наверное, потому, что прощается солнце. Прощается со мной… и с Вовкой. Он идёт по улице, смотря на всё весёлыми, большими глазами. Удивлён всему, открыт для всего. Собирает растущие на дне канавы шампиньоны и звякающие там же, рядом, бутылки. Бутылки сдаёт по дороге в маленьком краснокирпичном магазинчике, покупает пару молдавского сухого и не спеша идёт ко мне, в мастерскую.

Он всегда рад меня видеть, а я рад ему. Отрываюсь от работы, затем мы, дураки, варим эти шампиньоны и устраиваемся за низким столом, разговаривать о жизни.

Экзюпери, старый тополь и «чуть-чуть»

Вовка засветился глазом в закатном луче и сказал:

— Когда человек стоит с той, внешней, стороны балкона, нельзя знаешь какие слова говорить?..

— Какие, интересно?

— «Гагарин», «полёт», «Кожедуб», «звёзды», «Экзюпери»… «Нормандия-Неман»… «Икар», «Семеро смелых»… Женщина должна это понимать…

— Мысль ценная, но ты о чём?

— Вчера прыгнул с балкона. Четвёртый этаж!

— С ума сошёл что ли?

— Да, с женой поругался… потом выпил. Знаешь, я ей прочертил мелом линию по квартире, где-то полметра от пола, — по всей квартире абсолютно, и даже по кухне, — и говорю:

«Ты в нижнем секторе будешь обитать, а я в верхнем».

— Ну, это естественно, как иначе? Это я понимаю. Логично…

— В общем, поругались. Надоело всё. В итоге я встал на балконе с той стороны и спрашиваю: «Отпустить руки?» — она говорит: «Отпускай!». Ну, я и отпустил. И плавно так полетел спиной назад…

— Ну, точно с ума ты сошёл!

— А там тополь огромный, старый. Ну, ты его знаешь… И, представь себе, ничего… Ни одной царапины! Я же фаталист!

— Балда ты, а не фаталист! Как ты жив остался?

— Знаешь, очень мягко приземлился, на листья… Там листья, как перина. Правда, одна ссадина есть… — он улыбается и показывает пальцем на внутреннюю поверхность бедра, — Ещё бы чуть-чуть и всё… запел бы… но уже не тенором и не баритоном… Давай!.. Чтоб количество взлётов совпадало с количеством посадок!.. Или я путаю… это о чём-то другом?

Стрижка любительская

— Слушай, Вов, а что у тебя за причёска? Посередине чуть-чуть, пушок какой-то, а по бокам кудри. Как рожки у фавна. Натуральный фавн! Ты должен носить очень короткую причёску и бороду, тоже не длинную.

— Слава, вот ножницы лежат, подстриги меня! Пока видишь мой образ.

— Да брось ты, я никогда никого не стриг…

— Вот, пока видишь мой образ, стриги! Давай без излишней скромности! Ты очень большой художник! Я только тебе доверяю, одному! Такого графика, как ты я больше просто не знаю.

— Так ставишь вопрос? Ну, разве попробовать?.. Да и ножницы тупые. Я ими всё подряд режу… чуть ли не железо… фольгу точно резал.

— Давай за удачу!.. Нет, не включай свет! Ты вот так увидел в лучах заката, — вот так и стриги. Это тоже искусство! Пиши, как картину, только ножницами вместо кисти. Пиши, как Караваджо!

— А что? Может, я умею стричь? Я ж не знаю. Давай, попробуем…

Я начинаю срезать тупыми ножницами волосы и почему-то только с одной стороны (с правой). Стараюсь как можно короче, потом смотрю — много выстриженных до кожи мест, а некоторые даже до крови небольшой.

Что-то мне это напоминает — овец так стригут или пуделей «тремингуют», кажется… Я откинулся на кресло… Передо мной сидел человек, постриженный с одной стороны ровно до макушки. Кудри второй стороны шевелились…

— Нет, что-то явно не то… Сегодня я не в ударе… И, вообще, устал! Вот вы все думаете, что нам, парикмахерам легко…

— Да ладно, потом достригёшь, это вообще всё неважно! Забудь! Слушай, я тут недавно ночью рисовал на улице лунный пейзаж. Настроение такое было… Иду домой по Тарской, а навстречу двое — «ваши документы!»…

В этот вечер мы разгулялись. Разговаривали об искусстве, спорили, пели, кому-то звонили, боролись на руку, и по временам немного плясали (с тихим гиканьем)…

Иногда я понимал, что он какой-то… немного странный… но тут же отвлекался от этой мысли. Хорошо, что мы по улице не пошли гулять.

Утро было полно света. Я открыл глаза и сразу закрыл. На постели сбоку сидел Зайцев и смотрел на меня. Просто смотрел. Но этого было достаточно.

Пришлось вставать… Я порылся по сусекам, нашёл ещё немного спиртного, налил ему (для его нервной системы) и взял в руки ножницы… Вторая половина получилась немного лучше. Всё-таки я уже мог с полным правом заявить, что у меня есть в этом деле некоторый опыт.

Впрочем, Зайцев был совершенно спокоен. Только немного задумчив. Я подарил ему чистую белую рубашку и отправил его, задумчивого, в большой, солнечный мир города (бабьего лета)… а сам принялся за работу. Меня ждал большой заказ.

Надо было, конечно, побрить его… но это как-то не пришло в голову. Кроме того, опасной бритвы не было, а брить одноразовым лезвием… это как-то некрасиво. Непрофессионально.

Его девушка потом очень возмущалась и говорила, что меня убьёт. Но не убила. И вот, я живу.

Голубая пиала

Осень. Город засыпан рыжими листьями. Я писал что-то… а может, пытался осознать окружающий мир и свою жизнь… на очень неуютной съёмной квартире возле рынка.

Раздался звонок, в дверях — Зайцев.

Стремительно он вошёл в квартиру, начал ходить и много, сбивчиво говорить о том, что люди не понимают чего-то главного, важного, что они боятся всего непонятного… — говорил об искусстве, о жизни… и, конечно же, о своём дяде, которого недолюбливал.

— Ну, ты понял, да? Понял? — тут он заприметил мою любимую голубую пиалу, стоящую на столе, и очень сильно захотел тут же разорвать её на две половинки, — чтобы доказать свои слова… (это было бы действительно доказательно и впечатляюще), но, слава Богу, не смог… потужился и с видимым сожалением поставил её на место.

— Ну, пока, старик! Не грусти! — и он убежал, оставив меня в некоторой растерянности.

Я посидел… потом накинул пальто и побежал вслед за ним по шуршащим листьям — чтобы продолжить этот странный разговор…

Когда я вошёл к нему, Володя уже сидел в горячей ванне, держа в руке стакан с золотым плодово-ягодным вином. Где-то на чистой голубоватой кухоньке тихо шуршала недовольная жена.

Он философски и как-то по-египетски улыбался… а вокруг медленно плыла и кружила обжигающая сибирская осень…

НА ТОМ КОНЦЕ СЧАСТЛИВОГО СЕЛЬЦА

Золотое стихотворение

Вспыхни золотом жизненный круг,
Засветись, фантастический плёс.
У одной из весёлых подруг
Засветился веснушками нос.

Купола на церквях золотят,
А над речкою светится стог.
Золотые волосья ребят
Написать бы художник не смог.

Он старался б, но точно не смог,
Также точно, как точно весь свет
Отражается в паре сапог,
Что уносит подмышкою дед.

Луна и бузина

Опять луна и бузина…
— Лунища!.. — Толик мне сказал,
И дверь закрыл в холодном доме,
Заснеженном гнезде своём,
Печальном, скрытом от людей
Дикорастущими ветвями
Да бликов лунной кутерьмой,
Да кошек длинными тенями.
Здесь зуб забора, бессистемный,
Клони́тся на бок много лет,
Спешит прохожий слабонервный
Под тихий шорох наших мест…
Но мирно бегают собаки
И Толик спит под песни Грига,
Своей прокуренной ладонью
Шершавит он военный том,
И нежно серебрится шёрстка
У кошки, вышедшей из мрака,
И снежный ёжик старых яблок
Шершавит щёки под луной…
И поглощает свет Корнеич,
Идя домой в свои полдома,
И меж садов молочно-белых
Свой погашает фитилёк.
Между садов молочно-белых
Он будет спать под танцы Брамса,
Под голоса румынских скрипок,
В шатре из лунных светлячков…

Сумерек бормотанье

И не забудь об этом, парень,
И не забудь об этом, друг…
Что листья жёлтые опали,
Что кони травы потоптали,
Что завершился этот круг…

Теперь внимаем полуте́ням
Фосфо́рной, призрачной зимы…
Шум шевелящихся растений,
Заборов, веток, средостений…
В такой вот мир попали мы…

Здесь кот, никем незримый, бродит,
И я брожу, как некий кит.
Броженье есть в моей природе,
А там, в медлительной свободе,
В берете (бархатный он, вроде)
Сосед мой деликатно спит.

Малая толика

Лай, мой пёс, под небом перламутровым,
Конь гнедой брыкайся на ходу,
Выпей, Толик, рюмку, если муторно,
Только не забудь и про еду.

Ты слыхал, поди, о малой толике?
Это ведь, мой друг, не про тебя.
О тебе же, как об алкоголике,
Знает вся Наташкина родня.

Лай, мой пёс, под небом этим пепельным,
Конь гнедой беги к луне, беги!
Приходи, мой друг, попозже вечером,
Дам тебе немножко кураги.

Мы с тобой

А мы с тобой могли бы есть без соли
И хлеб и лук, и даже огурца…
Без капли молока иль алкоголя
На том конце счастливого сельца.

А мы с тобою босиком могли бы
Бродить густыми мхами и травой,
И облака, как перистые рыбы,
Могли бы плыть над самой головой.

Над самой головой, почти касаясь,
А после взлетая высоко.
И там позолотев, тихонько таять
Старинною жемчужною рекой.

И длинные пурпуровые нити
Могли б висеть над самою избой,
И светлячки по балкам перекрытий
Могли б ходить у нас над головой…

Хорошая осень

Вижу — здрасьте! — роете траншею?
А собаки лыбятся в усы?
Гуси повытягивали шеи?
Это осень нашей полосы.

Утепляем трубы? Надо, надо!
Впился в листья золотой узор,
Вижу — разбрелось по горке стадо,
Тёщу не повыманить из сада
На бескрайний розовый простор.

Вот приду и сяду на крылечко,
Обращу лицо к лицу небес.
Мысль совьётся в тонкое колечко.
Да и уплывёт за дальний лес…

Бабье лето

Бабье лето любит выпить
Да морозцем закусить,
Кума с деверем насытить,
Да у свата погостить.

Ой вы, белые платочки!
Ой, цветастые платки!
Ой, берёз златые точки,
Золотые пятачки!

Свет прощальный с неба сыплет,
Над избой — пушистый ком,
Бабье лето любит выпить
С подходящим мужиком.

Закуси ж, смотри, морозом!
Чтоб хрустело поутру!
Чтобы щёк тугие розы
Пьяно рдели на ветру!

Чтоб запутался ты в травах,
Заводной, прощальный, кум!
Ой, не суй своёго «краба»,
Дай понять берёзы шум!

Дай-понять-берёзы-шум…

Запах козьих сараев

Запах козьих сараев я слышу
Сквозь цветущую весело вишню,
Месяц тихо спустился на крышу
Фосфорической скромною мышью.

И повылезли гвозди из стенок,
И рассыпались длинные тени,
И незлобный совсем неврастеник
Тоже вышел дышать на ступени.

Но вплелись в одуряющий запах
И козлов сладковатые токи,
Ветви держат в чернеющих лапах
Осторожного ветра потоки…
Где-то тянутся, не застывая,

Розоватые, нежные сети.
Очень редкий букет, но бывает…
Тонкий запах козлов и соцветий.

Вот идёт Пётр Палыч, — козлами
Он пропах, его дом и супруга.
Но ведь мы люди русские с вами.
Так чего нам чуждаться друг друга?

— Здравствуйте, Пётр Палыч!

Запах козьих сараев мы слышим!
Сквозь цветущую весело вишню!

Мужики

Виктору Кремлёву

Один мужик дрова привёз,
Другой привёз навоз.
Я огурец воткнул меж звёзд,
Чтоб он тихонько рос.

Один мужик мне рассказал,
Как рану излечить,
Ну а другой идею дал,
Как лучше жизнь прожить.

Один мужик, другой мужик…
И третий мужичок
Учил с женой нормально жить,
Как бывший морячок.

А огурец меж тем возрос
В серьёзной, умной мгле.
Меж крупных звёзд,
Добротных звёзд,
На маленькой Земле.

Фью — фью!

Старый енот

Как воробьино щебечет весна
За стариковским плетнём…
Глазки открой же, да вот же она,
Вот же — небес водоём.

Сад этот с осени не обработан,
Помнишь густую траву?
А без тебя я забытым енотом
Старость свою проживу…

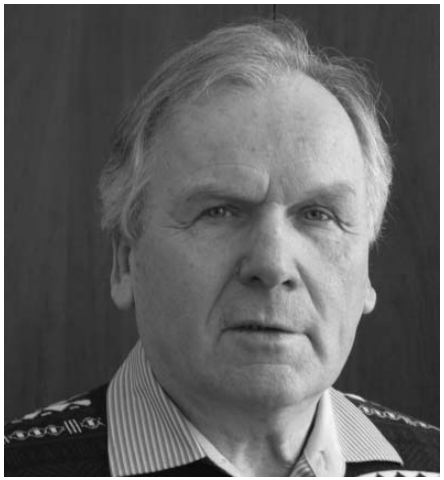
Малость облезлым, уютным енотом
Старость возьму — проживу.

Золотая река

И горит и дымится и плачет
Ароматной слезою смола,
И под лай абсолютно собачий
Возникают, играя, слова.

Возникают, играя, у печки,
И, как рыбки толкаясь, плывут
Золотой и невиданной речкой…
Золотой, удивлённый маршрут.

Милый друг, я почти засыпаю,
Но толкают меня там и тут.
Я вздыхаю, я вдаль уплываю…
Золотой, удивлённый маршрут.



Владимир ОБУХОВ

НА СТЫКЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Член Союза российских писателей и Союза художников России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Год рождения — 1953.

Место рождения — село Вавож, Удмуртия.

В этом селе прожил до 1970 года.

Уже в детские годы, проштудировав «Размышления о методе» Рене Декарта и «Капитал» Маркса, стал, как и подобает русским мальчикам, перекраивать, пусть и не карту звёздного неба, но самые основания философского знания. И сочинил трактат «Теория ароморфоза», самую суть которого составила мысль о генезисе законов природы: из элементарных, изначальных законов формируются всё более и более сложные законы. Одновременно с этим много рисовал, деформируя изображения на кубистический лад, а потому искренне почитая себя абстракционистом. И, конечно, писал стихи, поначалу безбожно подражая Есенину, а позднее, увлёкшись звукописью, поневоле впал в пиитическую заумь. В итоге, на пороге юности, торжественно сжёг все тетрадки со своими детскими стихами. И, может быть, зря.

В 1970–1975 годах учился в МГУ — на отделении истории искусства. И опять же поставил перед собой грандиозную цель: превращение искусствоведения в точную науку, опирающуюся на логику и социальную психологию. Одновременно с этим увлёкся выдвинутым Н. Ф. Фёдоровым проектом «общего дела» «воскрешения отцов». Результатом этих исканий и увлечений стала дипломная работа о трудах и судьбе крепостного живописца Григория Сороки, мало известного широкой

публике, но чрезвычайно высоко чтимого в художнических и искусствоведческих кругах. Впрочем, текст этот, по словам искусствоведа А. Ю. Сидорова, интересен «не новизной исследуемого материала, а методом его интерпретации, который можно назвать социально-психологическим».

С 1975 года — жизнь в Калуге, работа в местном художественном музее.

В 1977–1978 годах — служба в строительных войсках.

Возвращение в Калугу. Увлечение поэзией обериутов и неопримитивом в живописи. Возникновение художественного и поэтического «неомаразма», который взрос «на почве, хорошо унавоженной социальным маразмом»:

Представляете вождя
наподобие дождя?
Улетает под откос
глаз вождя, его же нос
или ягодица.
Прямо скажем, эта мода
для советского народа
вовсе не годится.

Картины и картинки — «Профсоюзное собрание», «Обнажённая на Красной площади», «Ленин ел!»...

1882 год. В издательстве «Искусство», после долгих цензурных мытарств, выходит в свет книга «Григорий Сорока». Возникает Бригада художников и искусствоведов, позднее преобразованная в Академию аналитического искусства (АКАНИС). Название Бригады — неточное, поскольку в ней состоял лишь один искусствовед. Именно он — идеолог, теоретик объединения, автор всех её деклараций, программ, прочих теоретических текстов. Он же — художник-практик, автор многих арт-объектов.

1983 год. В издательстве «Изобразительное искусство» выходит в свет юбилейный альбом «В. Г. Перов» (автор-составитель В. М. Обухов).

1985 год. В марте, одновременно с избранием на пост генсекретаря КПСС М. С. Горбачёва, открывается выставка «Индустрия — искусство», созданная коллективом Бригады. Это — самый необычный и совершенно уникальный образец экспо-арта: выставка как единое художественное произведение. Своего рода коллективный арт-объект. Выставка имела шумный успех. Большой фурор произвёл и доклад об этой выставке, зачитанный осенью на всесоюзной конференции в Академии художеств СССР.

1986 год. Возникает лубочная поэма «Чудо Розария Козлоблудина». И уже вскоре художники М. Мантулин и Г. Табаков создают арт-объект на темы этой поэмы, с текстами из неё. По сути дела, это первая её публикация, весьма, конечно же, своеобразная.

1989 год. Выставка-ансамбль «Космос». Среди главных её экспонатов — концептуальные тексты, искусствоведческие и космологические. «Художник, мыслящий в материале, мыслит ясно. Художник, мыслящий материально, мыслит смутно. Художник, мыслящий вне материала, мыслит абстрактно». «Время — мера расширения (и сужение) Вселенной. Его движение — маятникообразно». И всё же самый главный экспонат выставки — «Ноль-объект». Квадратное отверстие. Только что не «дырка от бублика». А вместе с тем — зримое ничто, конкретное и единичное. И тут уже — подступ к перевороту в метаматематике: оказывается, есть единичные ноли и бесконечности, которые могут вступать в математические операции!

1990 год. В издательстве «Советский художник» почти одновременно выходят в свет книга «Леонид Сойфертис» (автор В. Обухов) и альбом «Леонид Сойфертис. Графика» (авторы вступительных статей — В. Обухов и знаменитый писатель В. Некрасов).

1991–1994 годы. Публикуется Декларация Академии аналитического искусства. Отныне художественный метод мастеров АКАНИС — контравангард, трактуемый как контрреволюция в революционном, новаторском искусстве. Установка: максимальное усложнение художественно-поэтических задач. Центоны, тавтограммы, палиндромы. Крупноформатные картины «Прощание с селёдкой», «Купание Красного Петуха». «Неомаразм» преображается в «капиталистический реализм» (картина «Буржуазное изобилие»). Вслед за этим — попытка возрождения «греческой манеры» в современном искусстве: живопись по дереву и «за стеклом» («гласография»). Завершена поэма «Империя сексотов».

1995–1886 годы. Радикальная реформа метаматематики: отмена заявленного Георгом Кантором запрета на оперирование предельными величинами. На общем собрании АКАНИС 29 января 1996 года зачитан доклад «Гальсова картина мира».

1997 года. Художественно-поэтическая космология: создание модели «длинного атома»: природа микроэлементов трактуется как однородно-волновая. Волны могут восприниматься как частицы лишь единовременно — в мгновения пересечения ими каких-либо экранов. В ходе изучения природы времени выведена фундаментальная формула бытия: всякий логический предмет и равен (в каждое отдельное мгновение), и не равен (в потоке времени) себе.

1998 год. Публикация статьи «Проект общего дела и искусствознание. Фрагменты теории воскрешения». Микро-брошюра «Вселенная как художественный объект. Первые главы».

2002 год. В столичном издательстве «Серебряная нить» выходит в свет учебное пособие «Логика содержания» (авторы В. Обухов и Т. Пушкарёва). Впервые формулируются основные идеи и принципы неоклассической логики, противопоставленной «современной логике», математической, принципиально бессодержательной. Издаётся альбом «Калужский областной художественный музей» (М., «Белый город»).

2008 год. Выход в свет книг «Русский зодчий Пётр Романович Никитин» (Калуга. Издательство «Фридгельм») и «Художник-передвижник Илларион Михайлович Прянишников» (Калуга: Золотая аллея).

2011 год. Издание книги «Виктор Борисов-Мусатов. Жизнь и творчество» (Калуга: Золотая аллея).

2013–2016 годы. В калужском издательстве «СерНа» выходят в свет сборники стихов «Круг подобий», «Строй строк», «Прочнее меди», «Мгновения», «Полёт лет», сборник палиндромов «Нет стен», монографии «Иконологика и изобразительное искусство», «Смерть и воскрешение автора», «Вселенная как художественное создание», «Пётр Петрович Козьмин и Академия аналитического искусства».

2019–2020 годы. Начинается реализация нового литературно-художественного проекта «Прощай, Гуттенберг!». Рукописные сборники стихов и палиндромов. Рукописные книжки. Рукописный журнал Владимира Обухова «Око»…

* * *

Чем виновен я перед Вами?
Да, стихи неприлично лихи…
Но не я создавал — создавали
мной, покорным, стихии — стихи.
Вы простите их, если в силе
Вы всегда, если Вас попросить,
ураганы простить все — или
суховеи все не простить!..

1970-е

* * *

В те дни ломали старый город,
а поступь девушек легка
была, как и всегда. Как годы,
текла прекрасная река
в великолепном блеске всплесков.
Похожие на облака,
полями, мимо перелесков,
туманы плыли. И пока
сносили — в мир иной — постройки
и топором рубили сад,
чуть вздрагивали эти строки,
но сохраняли строгий ряд.

1976

* * *

Это как в старом немом фильме,
где грозно открывает оратор рот,
а простофили,
изображающие народ,
глядят на оператора, а не на оратора.

Это похоже на пантомиму,
где движенья понятнее слов,
а улыбка кажется неуместной,
как насильник-старик.

Он молчит,
она говорит про любовь,
а он видит:
губы тонкие, открывающие ряд
желтоватых зубов,
и взгляд,
похожий на крик,
выросший в гуще леса.

Слова пролетают мимо.

1977

* * *

Кипела бешеная осень,
и тлела белая звезда.
И юность продолжалась, очень
высокомерная всегда.
Судьба ж плыла в лодчонке утлой,
а все же верилось легко —
не только смерть, но даже утро
так далеко. Так далеко.

1980-е

* * *

Грохочет лист. Листаем ветром лето.
Глаза погасли. Как мутна печаль!
На лицах расплылась её печать —
последнего решения примета.
И больше нет начал — остались позади.
Пудовые висят на нас итоги.
В кровь сбитые, гудят набатно ноги.
Вот-вот обрушатся холодные дожди.

1984

* * *

Пошлейший оборот: «весна настала».
А глянь — как хорошо! Игла звезды.
Агония огня, дрожащего устало.
И дробный блеск взволнованной воды.
И ночь кипит. И тлеет в душном теле
могучее желание. Оно
стремит поток души к извечной цели,
достичь которой людям не дано.

1980-е

* * *

Труп дерева, внесённый в дом,
поставлен на попа. Он очень сильно пахнет.
Вокруг него — гоморра и содом.
И осыпаются частицы праха.
На стол поставлены: икра, балык, блины,
вино. Как на поминки. Вилки
о ложки спотыкаются. Видны
голодные и голые затылки.
Огни бегут, смеясь. Навис навес
стекляруса, похожего на сети.
В наряде кружевном стоит мертвец,
а рядом веселятся дети.

1985

* * *

О как удивительно томно
звучала горячая медь;
и красота многотонно
ворочалась в полутьме;
тянулись тонкие звуки
к порозовевшим ушам —
и буйно рушились руки
в партер, как вода в ушат.
То дьявол, двухвостый и лысый,
размахивал даже спиной —
не только руками, — не слыша
разбитый овацией вой.
Усыпанный потом, как оспой,
он долго ещё трепетал
и вздрагивал, палочкой тонкой
покачивая зал.

1991

* * *

Владимиру Животкову

Я страшно доволен,
я странно доволен
своею судьбой —
небесным рычанием колоколен,

земной суетой,
ненастьем,
несчастьями,
мерзостью быта…
Бреду — как в бреду.
Дорога, ведущая к небу, разбита.
Но, может, дойду.

1997

* * *

Вектор ветра чертят ветки.
Как сказал бы острослов,
Эти ветки — как пометки
Сразу всех редакторов.
Тут ни смысла, ни порядка.
Просто — ветки. Просто — куст.
Просто всё на свете шатко.
Просто дом, как Будда, пуст.
Просто страх по душам шарит,
пляшут чьи-то голоса.
Просто шарик, лёгкий шарик
улетает в небеса.

2002

* * *

Слепой ведёт слепого
над пропастью во ржи.
Цепляется за слово,
а в слове пропасть лжи.
Согреться в бездне мысли
пытается мудрец,
но годы в вечность смыли
тепло живых сердец.
Встаёт слепое поле.
Бежит во ржи тропа.
Согнулась, как от боли,
могильная трава.

Слепой ведёт слепого.
Глаза стекли с лица.
В лёд обратилось слово
слепого мудреца.

2000-е

* * *

Всё ценное находится
обычно ненароком.
Не хочется — приходится
порою быть пророком.
Случайно слово скажется,
сверкнёт в потоке речи — и
всплывёт. И вдруг окажется,
что это слово — вещее.

2005

* * *

В этой буче огнеопасной
остаюсь я самим собой.
Я не белый, не синий, не красный,
и, конечно же, не голубой.
И какие бы ни настали
времена, не войду никогда
ни в какие партийные стаи,
ни в какие такие стада.
Снова флаги взметнулись над нами —
пёстрых тряпок высокий строй.
У меня же одно лишь знамя —
небо светлое над головой.

2008

* * *

Довлеет дали доля
твоя, страна моя.
Довлеют дали — долы,
лесов и гор моря.
Над градами и весями,
над всей страной
гуляет дико ветер,

отчаянный, сквозной.
Есть в этом смысл, наверное,
да нами он забыт.
Но бытием овеяны
душа и быт.

2016

* * *

Упаду, а тень останется
и куда- то потечёт.
Кое-что и ей достанется —
и печали, и почёт.
Станет далью, долей русскою,
полусветом, полумглой.
Побежит речушкой узкою
между небом и землёй
по векам, так быстро тающим, —
улыбаясь на бегу
новым судьбам, прорастающим
у неё на берегу.

2019

* * *

Чёрное смешали с белым,
а в итоге — грязь.
Друг! Займись полезным делом —
заново покрась
этот день и эти горы,
этой дали высь,
это счастье, это горе…
Только не ленись!
Подведи под краски лета
белизну зимы,
отдели кристаллы света
от могильной тьмы,
чтобы стала жизнь нарядной,
как весенний дождь,
чтоб сверкающую правду
не мутила ложь.

2020

Пётр ТОПОРКОВ

АВТОБИОГРАФИЯ

Сергей Довлатов заканчивает повесть «Ремесло» совершенно странным образом. Это окончание состоит из двух частей. Первая: письмо русским писателям в СССР, в котором указывает: иллюзии тайной гениальности развеются, вы станете средними писателями, но это неплохо, ведь середина — это место, где происходит порой самое интересное. Во-вторых: Довлатов выходит на улицу и далее следует пассаж о достижении *равнодушия* толпы. Что здесь происходит? Происходит рождение автора как такового. В принципе, наследие Довлатова, определяющее какое-то глубокое «ядро», нечто «авторское» как таковое, предвосхищает событие, что произошло уже в эпоху массового интернета: *смерть читателя*. На смену *смерти автора* (временной), постмодернистской читательско-авторской игры цитат и ссылок, ты ему цитату, он тебе ссылку, — пришло время, когда есть только авторы. Литературные вечера, тусовки и сайты состоят по большей части из авторов. Интересен только автор. Отовсюду звучит тоталитарный призыв: будь креативен! ты уникален! твори! Расслабиться некогда. И литература здесь идиотически отражает жизнь. Если двадцать лет назад в моей деревне царило пьянство и частушки при луне, то теперь — все выходные, и в утренней субботней рани — взвизг газонокосилок.

Есть одна японская история, которую я очень люблю, и которую приводит в книге «Красотой Японии рождённый» Т. П. Григорьева. Как-то ученики, желая сделать приятное мастеру чайной церемонии Кобори Энею, похвалили его коллекцию: «Каждая вещь изумительна — не то, что у Рикю: его коллекцию может оценить лишь один из тысячи».

На что мастер с грустью ответил: «Это говорит о моей заурядности. Великий Рикю любил те вещи, которые нравились только ему. Я же невольно приноравливаюсь ко вкусам других. Рикю в самом деле был один из тысячи мастеров чайной церемонии».

В «Записках у изголовья» Сэй-Сенагон, написанных чуть более 1000 лет назад, есть такой фрагмент:

Струи дождя хлещут вкось. Я люблю смотреть, как люди накидывают поверх тонких одежд из шелка-сырца подбитые ватой ночные одежды, ещё хранящие с самого лета слабый запах пота.

В этом пассаже из глубины средневековья есть нечто странное. Неужели средневековые люди потели? Неужели эта неуместность, эта эстетическая трещинка в мире текста Сэй-Сенагон уже тогда входила в культурный канон? В диалогах Брассая — прекрасного фотографа середины прошлого века — с Пикассо есть симптоматичная деталь. Один из собеседников говорит: Мы знаем о древностях по камням и металлическим изделиям. Меж тем самые важные вещи, те, что создают дом, очаг — деревянные, и их не сохранить.

Литературный человек не имеет запаха и вкуса. Запах и вкус стал частью общедоступного языка не так давно, и то — коммерческим черновым ходом. Дегустационные заметки дорогих вин содержат такие определения, как «минеральный», «землистый», «каменный», а также «секси», не говоря уже про виски с их ароматами «торфа», «мебельного лака», «запечённого в духовке мяса» и «кожаных автомобильных чехлов».

Человеческое тело и природные вещи приходят к нам как нечто возвышенное — и не только в смысле ценника за бутылку Романе-Конти.

Итак, мы движемся к натуре.

Я люблю кулинарные книги. С детства со мною плывут по жизни добрые выпуклые рыбы из «Польской кухни» — книги, забытой в доме, где прошло детство; со мной картинки из глянцевой книжки *Burda*: устойчивые, легко-поэтичные в духе бидермайера немецкие фото с пирогами на фоне бутылки пилснера, пузатой, тёмного стекла, с косым шрифтом; и так далее. Приглушённые зеленоватые драпировки подходят к супу из шпината. К рецепту полагается элегантная афористическая подпись: *С этим супом приходит весна*. В другом месте: *Хрен в Австрии называется «крен»*. И так далее. Иллюстрации из «Книги о вкусной и здоровой пище»: загадочные, с крупным

ворсом. Как известно, никому не известно, что это за изображения, фотографии или картинки. Они философически отражают советскую реальность между мечтой и правдой.

И нет, дело не в том, что описание еды вкуснее, чем сама еда. Что физиологии как бы требуется знаковая, языковая подпитка для того, чтобы жизнь была настоящей. Нет. Мне очень не нравится вообще употребление слова «вкусный» в переносном смысле. Описание еды существует параллельно еде; исторически знаменитый «Альманах гурманов» Гримо де ля Реньера содержит массу абсурдных, неисполнимых рецептов. И тем не менее, это литература определённого вида, это не практическая рекомендация, но и не выдумка в литературном духе. Описание еды гораздо более ценны, чем, скажем, описания, точнее, попытки описания музыки; описания чего бы то ни было: они сообщают ту грамотную степень возбуждения, которая необходима джентльмену, умеренному человеку. Гоголевская история Шпоньки, история женитьбы, любовных чувств и прочего, оканчивается пирогами. Еда вообще любопытным образом отражает настроение литературы: она даёт как бы не совсем пристойное её отражение, то, что должно быть скрыто, торчит через еду. В поместье Ноздрёва суп, подаваемый Чичикову, оттенён соплёй, капающей из носа Фемистоклюса. Собакевич характеризуется открыто, весомо, ватрушкой, бараньим боком (именно так, утвердительное предложение: Бараний бок с кашей). Самый характерный пример — неощипанный, волосатый петух в толстовском «Воскресении»; он сообщает тот самый настрой всем событиям, он, суп с волосатым петухом — *аморален*. «Анна Каренина» содержит совершенно загадочно остающийся в памяти эпизод: Стива Облонский уронил спаржу толстым концом в соус. Почему? откуда это? почему толстым? что это за соус? и почему от всей Анны Карениной осталась одна спаржа? Неужели отсюда растут прустовские мадленки? Как это всё странно…

Если персонаж изобретаемый имеет некоторую твёрдость и определённость, скажем, даже о Чичикове мы можем составить некоторое суждение, о его весе, тембре голоса, повадках, то Я всегда разное. Я — то блондин, то брюнет, то это Я, как в случае с Довлатовым, знакомится с женой во время выборов, то эту самую жену забывают на попойке; то Я находчиво отвечает на остроты Бродского, то вынашивает ответ неделю, и в конце концов включает в свои записные книжки.

есть множество людей, которые, как мне кажется, идут слишком быстро. вернее: они идут вдоль жизни. В принципе, «финансовый» подход как таковой есть движение вдоль жизни: ты делаешь шаг для того, чтобы совершить следующий. Ты думаешь наперёд. Литературное Я делает всё, чтобы остаться на месте, кружа в точке создания: мемуары не рассказывают о том, *как всё было.* Понятно, что это *фикшн*, что правды там процентов двадцать, и эта самая правда как раз никому не нужна — мемуары запутывают, замазывают отражение автора. И, словно действуя в логике психоанализа, этим замазыванием выявляют следы, ведущие к Главному, к Тому Самому. А где Я родился? Как говорил герой Челентано, я родился, неважно, где я родился, главное — что я родился под счастливой звездой.

Из цикла эссе «Литература в школе»

Про банку финской селёдки, Пушкина и русский литературный язык

У меня в деревне на чердаке стоит банка из-под финской селёдки. Банка старинная, времён импортных девяностых: серая, отливающая серебром этикетка с добродушным морским котиком. Я вспомнил об этой банке потому, что однажды, сидя без особого дела, стал читать на этикетке состав. написанный по-фински. Мне хочется привести этот состав полностью, в нём есть, так сказать, замысел.

HEERINGAFILEED, MARINAAD, NATURALNE VALGE VEIN, SOOL, SUHKUR, SÄILITUSAINE E211.

В чём же была заковыка? А дело в том, что любой человек — хоть немного учивший какой бы то ни было иностранный язык, да, наверное, даже и не учивший никакого — поймёт состав этой селёдки процентов на 90, филе и есть филе, маринаад он и в Африке маринаад, вейн кладут в глинтвейн, соль и сукур знакомы в не меньшей степени. Парадокс здесь в следующем: маринованная селёдка, продукт, в общем-то, определяющий кулинарный портрет Скандинавии и Финляндии в частности, состоит сплошь из заимствованных слов. Исключение составляет слово — säilitusaine — консервант, да и то, скорее всего, переведено частями.

Как такое возможно? Как возможно — а мы видим, что это возможно — конструирование культурной традиции? Ведь случилось так, что, например, любитель кино при слове «Финляндия» аукается фамилией: «Каурисмяки!» — т.е. Финляндия — это Финляндия Каурисмяки,

в той же мере, как при слове «Балканы!» аукается Кустурица, и масса балканских фильмов после «Подполья» созданы под Кустурицу, потому что так яснее и проще.

В той же мере русская литература определяла русскую жизнь: вспомним, как с детских лет нам говорят о Пушкине как о Начале: Пушкин создал не только литературу, он создал Язык.

При этом пассажи из «Писем русского путешественника» Карамзина более читабельны, чем многие тексты, скажем Бродского или Аркадия Драгомощенко. Потребность в определении Пушкина как Начала — одна из загадок русской души. В Начале должен быть гений; язык, по какой-то негласной директиве, должен исходить от гениального автора, и эта потребность в абсолютном начале, так неизменно оспариваемая — почему, к примеру, школьник пририсовывает синий шариковый пенис к портрету Пушкина или Гоголя в учебнике? — потому что он понимает: Пушкин — это огого! А со всяким огого! нужно бороться. А со временем нужно признать, что Пушкин в общем-то и хорош, и потом, совсем замудревшим, сказать: да, неслучайно говорят: Пушкин — наше всё.

Граница владений дедовских. Я точно помню, как начиналась моя жизнь. Она началась со штуковины, состоящей из двух диапозитивов: Михайловское. Жёлтая трава. Иллюзия трёхмерных построек. Пограничный камень. Позже я прочёл «Заповедник» Довлатова, узнал, что существует реальность, что Семён Гейченко выдумал аллею Керн, что посуду и стулья в музеи великих людей подбирают на глазок. Я узнал, что существует бессмысленная правда. Зачем? Пушкин должен оставаться как мать и как отечество, и как вера. Их не выбирают. Они звучат из Начала, они издают неразменный гул, что-то типа глухого биения чёрного кадра узи, когда ребёнок ещё в животе.

Собственно, я думал о «Путешествии в Арзрум». Мне хотелось поразмыслить о том, как Вяземский говорил западнику-Пушкину: съездил бы ты, голубчик, хоть в Любек. О том, что Пушкин не был в Европе. Что написал «Клеветникам России». В Арзрум: Пушкин едет на юг, упоминая Калугу и калмыцкую еду. Зачем ехать в Арзрум? Чтобы увидеть гермафродита и встретиться с блохами в душетском трактире? Для Пушкина это было путешествие в никуда, путешествие в то место, где кончаются осмысленные, связанные представления: в данном случае, о Востоке, байроническом, французском под соусом Монтескьё — каком угодно.

Именно поэтому и в Любек ехать бессмысленно и даже опасно. Европа должна оставаться на дистанции, её нужно продолжать любить. Нужно поддерживать иллюзию диалога: выдавая за переводы «Из Пиндемонти», а «Пир во время чумы» — за английские вирши. И Достоевский — не то чтобы неправ, говоря о «всемирной отзывчивости» пушкинского гения: нет, нет такой вещи, как «типичный русский, немец», всё это глупые упрощения; нет, иноземные герои Пушкина намеренно *выдаются* за иноземцев. Они поддерживают карнавальный каркас Запада, выстроенный при Петре. Не случайно Сокуров снимает «Русский ковчег» об Эрмитаже в один присест, в один монтаж: сон о Западе слишком непрочен и слишком важен, чтоб его прерывать. Запад дан нам как Начало; Дант, выпадающий из пушкинских рук, вся его иноязычная библиотека на Мойке — всё это звучит как один, неразложимый гул. И хоть Пушкин пишет Татьяну Ларину с себя, роман свой он называет «Онегин»: утомлённый француз, нетрудовой герой.

Лермонтов, Грибоедов и плохой царь

Я не историк и не претендую на слова типа «Мой Пушкин». Но чем больше я погружаюсь в какие-то типа исторические сочинения, описывающие это далёкое и какое-то райское время — начало века 19-го, тем больше я нащупываю какое-то странное и смешное чувство. Это чувство ожесточённой борьбы мужчин с юнцами. Кто такие Пестель, Грибоедов, все эти мальчики-дуэлянты, романтики из небедных семей? Они *ещё не выросли*, у них *ещё молоко на губах не обсохло* — но это *ещё* повторяется с настырной регулярностью, это принципиальное нежелание быть *отцами*; чувство, совершенно чуждое современной России, месту, где романтический порыв как таковой — социальный, экономический — осмеян, потому что обжегшись на молоке, дуют на водку.

Эти поэтические мальчики XIX века. Они не хотели быть мужчинами? Но они воевали, да? Лермонтов — настоящий, смелый вояка. Можно ли, так сказать, визуализировать мужественность Лермонтова? Нет. Это мальчик. Это пирожок. Внутри пирожка — мужчина. Но как только появляется Плохой Царь, в этих мужчинах просыпается пирожок. Как только появляются *отцы* и говорят: ну что ты пыжишься, сходи к графу N, поклонись, поддержи разговор, тебе ж польза выйдет… — в этих людях просыпается бессмысленный юнец, тот самый Владимир Печерин, готовый на веру бусурманскую, на «Как сладостно отчизну ненавидеть…» и на ирландский монастырь.

Чем больше человек пытается разобраться в обстоятельствах гибели Грибоедова, тем, во-первых, я больше запутывался, и, во-вторых, тем

явственней — хотя, возможно, что это иллюзия, фантом — перед моими глазами вставала фигура Грибоедова, которому не верил царь и свита, Грибоедова, который всерьёз полагал, что на дипломатической службе можно служить делу, а не лицам, Грибоедова, который верил, что крепость характера и твёрдость линии может решить вопрос на восточном дворе. Это непостижимая вещь.

Среднестатистический россиянин учит историю России по художественной литературе. По крайней мере, уроки литературы в школе, как правило, ближе к реальности в привычном человеку смысле: здесь есть тела, одежды, еда, здания, чувства. Уроки истории часто состоят из дат, стрелок направления войск в сражениях, перечня царей и цариц. При этом литература — не жизнь. По комедии «Горе от ума» нельзя изучить Москву начала XIX века — как советское общество не понять ни по Астафьеву, ни по Довлатову, ни, тем более, по Георгию Семёнову или Юрию Казакову. Собственно, дело вот в чём. Князь Пётр Вяземский в статье «Допотопная, или допожарная Москва», говорит о том, что Грибоедов показал только половину Москвы, её плоховатую половину. Важно, в первую очередь, что это именно *князь* Вяземский. Важно, что это человек *оттуда*. Литературе всегда недоставало взгляда *оттуда*. *Там* нет лишних людей. Невозможно быть одновременно *там* и тут. Там всё гораздо мягче, там лежат персидские ковры и люди редко повышают голос. *Драме* там места нет.

Тургеневская плётка

Неоднократно говорилось, что корни Захер-Мазоха расположены в Тургеневе. Тогда как романы де Сада — романы философские в том смысле, в котором они были прочитаны в 20 веке, романы о чём-то холодном, что подаётся на одном блюде с Кантом — в такой же мере романы Захер-Мазоха — романы географические, даже этнографические: основной персонаж этих романов — не женщина с плёткой, а сама идея географической Границы, существующей границы между ясным Здесь и тёмным, пугающим Там: европеец перед лицом женщины Оттуда. Итак, Захер-Мазох во многом как-то вырос из Тургенева: у самого Тургенева, помимо собственно садомазохистских мотивов (вроде пресловутой плётки в «Первой любви»), мистических мужчин («Странная история»), и женщин («Клара Милич»), есть совершенно анекдотическая повесть — «История лейтенанта Ергунова». Анекдотично в ней прежде всего то, что повесть эта — в общем-то не очень

интересная — переписывалась и шлифовалась автором многократно, что показывает одержимость автора неким внутренним измерением этого сюжета. Вторая любопытная деталь заключается в том, что сам захер-мазоховский сюжет о женщине-губительнице представлен здесь как кукольный театрик: женщина, *Zuckerpuppchen*, как называет её рассказчик, женщина, которая должна быть одета в меха и вооружена плёткой, в итоге всех хитросплетений то ли банально обворовывает молодого офицерика, то ли сама — в духе уже голливудских *femme fatale* — становится жертвой коварного плана. Для Тургенева образ Злой женщины, понятное дело, как бы фрейдистски связан с детским впечатлением жестокой матери, и отсюда, все эти смертные мотивы, эта плётка избыточного желания в «Первой любви», аукающаяся в конце эпизодом смерти крестьянки — при том что в «Первой любви» плётка отцовская.

Странным образом эта femme fatale, становящейся жертвой, аукается во многих западных историях: плохая женщина оттуда — из России или Югославии, из «другой Европы» — таинственная женщина «оттуда» в конечном итого повержена; горизонт расправился, туча ушла, и над холмистыми полями Microsoft Windows веет пополуденный ветерок. Лилит померла, Ева по воду пошла.

Второй том Чехова

Когда я учился в школе, летом, в деревне, я порою читал книжки из списка литературы на лето. Однажды ко мне пришёл сосед — заезжий парень из Москвы. Он был нахальный. Его велосипед стоил 1000 рублей. Моя мама получала 350. Мало того: на велосипеде не было заднего щитка: это придавало голому колесу невыносимую притягательность и крутизну, по сравнению со скромными, целомудренно одетыми колёсами моей «Десны». Я думал, что он сильней меня, я его боялся. Он звал меня гулять, и когда я отказался, он бросил «Пушкина читаешь?» Я, хоть и был отличником, Пушкина не любил, и вообще — проводил каникулы на диване. Я был лентяй, и любил смешную литературу.

В том числе Чехова. Особенно 1 и 2 том. Я любил его смешные рассказы. В этих томах те самые фельетоны и рассказики, которые, как считается, писались Чеховым за день: это был период писания на заказ, быстрого, лёгкого и предназначенного для читателя как такового. Если первый том — это фельетоны по определению, казусы, типа пересказываемые анекдоты, то здесь к фельетонам добавляется,

как сказал бы Мандельштам, «виноградное мясо», мясистая плотность старинной России. Это то самое мясо, которое обычно изображают на портретах Диккенса: писатель в экстатическом порыве, и вьющиеся в чёрно-белом воздухе персонажики, виньетки и пух — так называемые плоды воображения, фиги, смоквочки, все эти Юраи Хипы, мистеры Гопкинсы, Чезлвиты и др.

Потом я узнал, что Чехов — писатель глубокий, серьёзный, он известен драмами, повестью «Степь» и «Скучная история» и др. Мне казалось, что мне нравится серьёзная литература.

А потом мне стала неинтересна серьёзная литература. В фильме Нури Бильге Джейлана «Отчуждение» есть такой эпизод: герой включает на видеомагнитофоне «Сталкер» Тарковского, смотрит первые минуты, камера едет или идёт, что-то серьёзное должно возникнуть, какой-то влажный гризайлевый забор, но тут герою это всё надоедает, и он переключается на кассету с лесбийским порно. Я думаю, в этом эпизоде важно не само это переключение: в принципе, любой может включить фильм Тарковского, посмотреть две минуты, и переключиться затем на лесбийское порно. Проблема возникает тогда, когда это переключение совершает так называемый искушённый зритель. Это вопрос перенасыщения литературы, кино, и другого — тем, что зовётся «искусством» — перенасыщения собственной важностью.

Серьёзная литература предполагает поучения, или по крайней мере, какое-то нарочитое нравственное послание: она существует не для среднестатистического читателя, который понимается как *человек другой профессии*, книгу читающий в кресле по вечерам; она существует для читателя, у которого есть свободное время для самоанализа; по иронии судьбы, таким человеком является школьник или студент на каникулах — тип человека, склонный к чтению в самой малейшей степени.

Почему литература неинтересна миллионам? — лежал я на дачном диване с обнажённым пузом и рассуждал.

Павел ТРИШКИН

РАДИО «КАРАНТИН»

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Раз уж настало такое время, после которого никто из нас не будет прежним, а на самом деле любое время таково, я решил записать немного слов для вас.

До того, как нас заперли в тесную клетку
Мы качались гордо на тонких ветках,
Мы с тобою были певчие птицы,
А теперь, кто скажет, во что превратились?
Но во что бы не выпало превратиться,
Всё равно мы помним, какими были.

Иногда не важно, каким ты станешь,
Если знаешь твёрдо родную стаю,
И хотя нас накрепко запирали
Все преграды выглядят так нелепо,
И пускай мы долго с тобой молчали,
Но споём, как только коснёмся неба.

Итак, меня зовут Павел Тришкин. Я поэт из Калуги. Кто-то, возможно, что-то обо мне слышал, но я спешу опровергнуть данную информацию. Что бы вам ни говорили, я абсолютно не такой. Может, совершенно противоположный. И даже если вы знаете меня лично, уверяю, вы меня совершенно не знаете. Конечно, вся информация из моей официально оформленной автобиографии достоверна:

Родился в 1981 году. Родители из Калужской области. В 2002 году окончил КГУ им. К.Э. Циолковского. Работал в школе. Сейчас работает менеджером. Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах

Калужской области и России. Участник нескольких литературных фестивалей, нескольких Форумов молодых писателей России и зарубежья. Автор книг стихов «Птичий остров», «Помарки». Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2013 по 2019 год. Составитель и организатор издания молодёжного литературного альманаха «Зерно». Организатор различных литературных мероприятий. Лауреат нескольких областных, городской литературных премий. В настоящее время живёт в Калуге.

Однако, не стоит забывать, что одновременно всё это абсолютно ничего не даёт.

Мы крохи космоса, мы миллионы лет,
мы взявшие во тьме неверный след,
мы дети, рассуждавшие о главном,
мы целое делили на куски,
мы пойманы с тобою на неправде,
мы так с тобой от правды далеки,
как только можно быть,
чуть более, чем можно.
Хрусталь на краешке дрожит неосторожно.
Попробуй — сбереги.

В тот день, когда я это пишу, доселе имеющие какой-то профанационный смысл условности, полностью потеряли свою силу. Ведь мы с вами окончательно нырнули в цифровую эпоху. Здесь и сейчас произошёл-таки обещанный конец света. Правда, как это часто и случается, он одновременно оказался и началом нового. Но в этот конкретный миг я, автор, нахожусь на стыке эпох и думаю, что грядущее будет чем-то иным (хотя и подозреваю, что оно останется совершенно прежним). И грех не воспользоваться ситуацией, чтобы не отказаться от накопившегося в прошлом и шагнуть из хмурого настоящего в сияющее будущее.

Мы мечтали давно, когда бабочка билась в руках, щекоча небо крыльями.
Времена тех, кто смог обыграть рок-н-ролл на его же могильной плите.
Когда мир беспощадно звенел, как ключи у ночного портье,
рассыпая вчерашние грёзы космической пылью.

А теперь, когда в моду вошёл усреднённый дизайн,
в одноразовой таре все наши созревшие дали.
Мы уже не металл, а скорее фальшивый металлик,
избежавшие ран, но продавшие виды на рай.

Как мы смотрим вперёд, возвышаясь на мусорных баках,
дым прошедших надежд и сегодняшних частых подмен.
Как пакуем грядущее в призрачный полиэтилен,
слой за слоем, удушьем скрывая свой гнилостный запах.

Так мы смотрим вперёд.

И хотя мой лирический герой не очень оптимистичен, я напоминаю, что не стоит путать лирического героя и автора — это имеем право делать только мы с ним вдвоём. Мне сейчас кажется, что всё в нашем новом старом будущем будет как минимум не хуже прошлого. А если как следует настроиться, то и вообще окажется гораздо лучше. В конце концов, кому как не нам определять, лучше стало или хуже. Мы оказались в новой эре, но при этом всё ещё можем себе позволить наслаждаться прекрасным миром вокруг.

Неловкий день рассыпал воробьёв,
Они на полпути в кустах застряли,
Сбежавшимся на выручку котам
Теперь смешные песенки поют.
Коты следят, чтоб воробьи с кустов
Нечаянно на землю не упали.
День выдал дел котам и воробьям.
Даст Бог, и нам найдётся смысл тут.

Однако, как мне кажется, я и так уже много пустого наговорил, а для человека новой эры, тем более, уже вполне себе зрелых лет, это неподобающе. Поэтому всё остальное пространство я оставлю для стихов, потому что, что бы вы про меня не знали, что бы вам ни говорили другие, что бы ни было на самом деле, значение для поэта имеют только они.

Унылое умение молчать
приходит с возрастом.

Чем больше есть того, о чём сказать,
тем меньше хочется.

Горит в ночи холодная звезда
из неопознанных.

Созвездие скупого одиночества.

Ты так юна, ты много говоришь,
без у́молку.

До нынешней, всегда была весна
за осенью.

Горит звезда холодная в ночи
испуганно.

Кому-то было нужно: разожгли
и бросили.

* * *

Не плач и не ругань, лишь что-то во взгляде
меняется навсегда.
Твой ангел-хранитель заходит в бар
и просит виски без льда,
Но что бы ему ни плеснули в стакане всегда
святая вода.

Последнее фото, косое небо,
заваленный горизонт.
Не то, что развалины, но едва ли
сумеет спасти ремонт,
горошина солнца портит кадр,
засвечен прощальный фон
и вот

твой ангел-хранитель выходит под надпись
«выхода нет»,
и идёт.

* * *

Чем живёт воронёный скворец лёгкой грусти?
В три часа пополудни, накануне полёта.
Чью он песню украл, заплетая в мотив,
или это твоя? Или кто-то
походя зацепил, расплескал твою скорбную душу?
Разве нужен ответ? И зачем он тебе, если нужен?

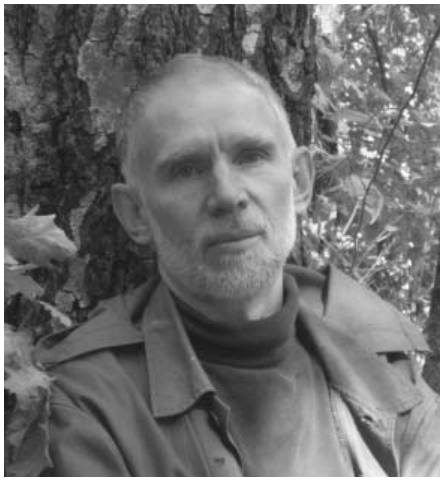
Мы и есть суетливый вопрос.
Острый камушек в Божьем сандалии.

* * *

Когда будешь в последний раз убирать за ним шерсть
не будь плаксой.
Вообще не будь плаксой.
Спрячь это в уголках глаз.

Когда вспомнишь важного человека, любимого человека
не будь плаксой.
Вообще не будь плаксой.
Спрячь его в уголках глаз.

Это важно, как ты выглядишь перед лицом вечности, так что
не будь плаксой.
Вообще не будь плаксой.
Спрячься в уголках её глаз.



Александр ТРУНИН

НЕМНОГО О СЕБЕ

Предыстория

Мой отец голыми руками подхватывал горящие угли, выпавшие на пол, и бросал их обратно в печку. И никогда не обжигался. Я думаю, это всё мозоли — трудился отец бесконечно: строил, косил, ухаживал за скотиной… Крестьянский сын, в учителя попал он совершенно случайно. Поехал после семилетки поступать в строительный техникум, да конкурс там был слишком высокий, он и пошёл в здание напротив — там педагогов готовили и недобор был. Стал математиком, несколько лет учил детей в селе Борщёвка, что стоит на высоком правом берегу Оки километрах в сорока от Калуги. Женился, в семье родилось двое дочерей.

За три года до войны попал он в армию. Служил в Белоруссии, как раз близ западной границы — поэтому в первые же дни оказался в окружении, а потом и в плену. За связь с партизанами грозил ему расстрел, но любимая женщина помогла — отдала какому-то немецкому начальнику все свои золотые вещи, и отправили его в Германию работать у бауера. В 1944 году он был освобождён американцами, и уже в Польше его вторично призвали в Красную армию. Воевать пришлось недолго. В марте, в одном из боёв ему оторвало ногу упавшей рядом миной. Сутки ждал помощи, теряя сознание. Хорошо, что пришёл в себя, когда по полю полз санитарный танк. Заметили, подобрали, вылечили. И уже летом на одной ноге и двух костылях прибыл он

на родину. В семью он не вернулся, забрал к себе одну дочку. Снова пришёл в школу — на этот раз в селе Кольцово, которое раскинулось на левом берегу Оки километрах в пяти о Борщёвки. Учил без хитростей, но дети предмет знали и Василия Ивановича уважали.

Как раз в это время здесь же оказалась моя будущая мать. В прошлом у неё было счастливое детство в солидном крестьянском семействе, «раскулаченном» в 1931 году, скитания по углам, голодные годы, учёба, работа в школе, жизнь в оккупированной немцами Калуге, служба во фронтовом госпитале, с которым в должности начальника штаба дошла почти Кёнигсберга. Вышла замуж за офицера-танкиста. Вернулась в Калугу она в конце 1944 года, родила дочь и снова пошла работать в школу. О муже пришло известие: пропал без вести.

В Кольцово Александра Никитична Королёва приехала на лето — подработать в только что организованном детском доме. Но привязалась к детям, не могла их бросить, и на тридцать лет осталась завучем, до самой пенсии.

Так мои родители и встретились.

Время и место

С местом и временем рождения мне повезло.

Я появился на этот свет 11 декабря 1954 года.

И десяти лет не прошло с тех пор, как окончилась война. Многое о ней напоминало. Отец стучал своей деревянной ногой — он её сам вырезал из сухой липки. Его орден Отечественной войны I степени был единственной золотой вещью в нашем доме. Оплывали и зарастали травой и кустарником блиндажи в ближнем лесочке, там же стоял остов немецкой легковушки… Но для моего поколения война уже была далёким прошлым. Жизнь шла мирная. Закончились и суровости сталинского времени. В столице начиналась оттепель. В деревне уже никого не держали насильно, но народу было ещё много. Ребят на две футбольные команды набиралось. В школе, включая воспитанников детского дома, было по два класса в каждой параллели. Нескучно и вольно мы жили, благо местность была интересная. Овраги с орешником, леса с ягодами и грибами, пруды с карасями, Ока, полная рыбы и раков, а ещё развалины старого помещичьего дома с таинственными подвалами и барские сады, в которых ещё можно было встретить вкусные яблоки или заросли плодоносящей вишни — всё было наше. Часто любил я побродить или посидеть дома в одиночестве. Бесконечное парение

ястреба в высоком небе, журчание ручья в глубоком тенистом овраге, синяя дымчатая полоска далёкого леса, первый снег со следами птичьих лапок, огромный закат в западном окне дома — от этих простых, обыденных явлений душа волновалась, замирала, искала какого-то смысла.

Но эта воля пополам с немалым домашним трудом была только частью моей жизни. Вторую половину занимали книги. Читать я научился лет в пять. В шесть — меня уже записали в библиотеку. Её полки, гнущиеся под рядами тяжёлых томов, и запах тлеющей бумаги тоже волновали меня, обещали открыть что-то неизведанное.

«Я растил себя поэтом…»

Первые стихи я написал в альбоме для рисования. Мне было лет десять. Ранней весной слёг я с очередной ангиной. Что было делать больному ребёнку в докомпьютерные времена: читать да рисовать. Помню зелёный карандаш, которым я в альбоме рисовал долгожданное лето. Закончив рисунок, я почувствовал: чего-то не хватает. Открыл новую страницу и начал писать. Получались стихи. Во всяком случае они были построены в виде четверостиший с перекрёстными рифмами. Естественно, ни того альбома, ни слова в памяти из тех стихов не сохранилось. Помню только мальчика, который топает по лужам. Если попытаться сделать позднюю реконструкцию, было что-то вроде:

Мальчик топает по лужам,
Брызги в стороны летят,
И никто ему не нужен,
И ему не запретят…

Зашёл меня проведать мой сосед и друг.

— Я стихи написал, — сказал я ему и показал альбом.

Он прочитал внимательно и ответил сдержанно:

— Стихи…

На этом дело и закончилось.

Вернулся стихотворный зуд ко мне уже в юности. …

Стихи, казалось, давали возможность выразить те смутные чувства, которые одолевали меня в ту пору. Читал Есенина: «Где под музыку лягушек, я растил себя поэтом…» Это была и моя правда. Читал Блока, Фета, Тютчева, А. К. Толстого… И с ними бесчисленных авторов тонких книжечек с полок книжного магазина в районном центре и в местной библиотеке. Как-то встретил в «Юности» несколько стихотворений

неизвестного мне Николая Рубцова — посмертная публикация, из совсем не главного, — поразился, насколько они глубже, сильнее, вернее всего, что было опубликовано в журнале. А вскоре и его «Подорожники» мне попались в руки. С тех пор и доныне, с временными угасаниями, он один из любимейших моих русских поэтов.

Юношеская графомания приходила всплесками, накатами. Много было исписано бумаги — тетрадей, записных книжек, листков. Временами я отбирал «лучшее», составлял рукописную книжечку. И всячески таил от постороннего глаза.

Мой университет

После школы нужно было выбирать профессию. Чем-то кроме литературы мне заниматься не хотелось. Попробовал поступить на филфак в МГУ. Получилось не сразу, а только после того, как поработал на заводе и отслужил в армии.

Филологический факультет одарил таким разнообразием знаний, таким богатством человеческих натур, что стихи отошли на второй план. Они приходили только в те редкие дни, когда я приезжал в свою деревню.

Все пять лет в университете меня сопровождал Чехов. Его письма стали сквозной темой не только курсовых и дипломной работ, но всей моей московской жизни. В моих снах мы шатались с ним — молодым, здоровым, весёлым — по коридорам общежития на Вернадского, это была хорошая дружба, щедрая на радость понимания и поддержки.

Но и для стихов время учёбы было, конечно, не напрасное. Филология — буквально: любовь к слову. А в поэзии это и есть самое главное. Любовь, которая ведёт тебя в глубину смысла, звука, мелодии. Которая даёт способность безошибочно уловить верную ноту, увидеть фальшь и очиститься от неё.

«Льдинок в ведре перезвон…»

Перелистнув шесть московских лет, я снова оказался в деревне.

Мой старый, старый, старый сад
Под этим светлым небосводом.
Всё так же птицы в нём сидят
И не стареют год за годом.

Всё было так же, как в детстве. Но теперь я мог не только увидеть и почувствовать, но и сказать.

Работал я учителем в местной школе. Работа, семья, домашнее маленькое хозяйство… Но сквозь быт проступала поэтическая сущность бытия. Это ощущалось как прозрение, границы видения раздвигались до бесконечности, возникали невозможные в обычном состоянии связи между словами и образами. Стихи заполняли блокнотики, перепечатывались на машинке. Потом стали появляться в калужской молодёжной газете…

А через некоторое время подборки моих стихов были опубликованы в знаменитых российских журналах — в этом, конечно, сыграла свою решительную роль одна неожиданная встреча. Так не бывает, но случается: однажды на полянку у моего дома, где я качал на качелях свою маленькую дочку, пришли люди, один из которых оказался известным писателем. Стихи мои ему приглянулись. Он показал их известному поэту, который тоже одобрил мои поэтические опыты. И вскоре всё, что могло быть опубликовано, появилось журналах «Волга», «Новый мир», «Дружба народов»…

Один из редакторов, правда, посетовал: «Ну что же вы так пишете… Кто услышит этот ваш «льдинок в ведре перезвон»?» Но стихотворение с этой строчкой взял в подборку, которая открывала номер.

Так и пошло.

В это время — перестройка, девяностые — прорвало все литературно-политические плотины и валом пошли публикации ранее запрещённых, забытых или замолчанных поэтов. Не перечислить всех имён, за которыми открывались мне новые, сверхъяркие поэтические миры. Был, конечно, и соблазн подражания. Но в конце концов пишешь только так, как можешь писать именно ты. И удивительно, что только это — очень твоё, сокровенное — и воспринимается другими как что-то важное и ценное.

Клевер поднебесный

Деревня — Саратов — деревня — Калуга… Таков был дальнейший маршрут моих перемещений в пространстве.

В Калуге на рубеже тысячелетий вышла моя первая книжечка стихов. Называлась она «Клевер поднебесный». Её и стопку журналов с моими публикациями я представил в правление Союза российских писателей.

— Зачем тебе это надо? — спросил большой поэт, давший мне рекомендацию.

Свой ответ не помню, что-то вроде:

— Пригодится…

И ведь в самом деле пригодилось.

Так получилось, что мне пришлось возглавить калужское отделение СРП. Это случилось в 2005 году. К тому времени нас осталось всего трое, причём двое — гораздо старше меня. Везёт мне на эти мелкие общественные нагрузки. Обычная мотивировка: а кто ещё… В этот раз моё председательство затянулось на пятнадцать лет. Сейчас в организации двенадцать человек в возрасте от тридцати до восьмидесяти.

Я думаю, смысл пребывания в организации всем ясен. Конечно, никаких привилегий и благ, которые давал Союз писателей в советское время, уже нет. Но организация помогает создать творческую среду, которая необходима всем нам, — это главное. А кроме того, официальный статус объединения писателей даёт возможность выпускать совместные сборники и книги отдельных авторов, а также помогать нуждающимся писателям и молодым талантам — на это каждый год через Союз приходят небольшие стипендии и субсидии.

Что касается молодых талантов, стоит сказать о литературной студии «Дар», которую я вёл лет десять, начиная с 1998 года. Она существовала при Доме учителя, но приходили туда все, кто тянулся к литературному творчеству — от школьников до пенсионеров. Сколько человек через неё прошло, не посчитаешь. Немногие связали свою судьбу с литературой профессионально, но трое из студийцев сейчас в нашем Союзе.

Время стихов

Моя вторая книжка имела тоже травное название — «Отава августа». Видно, трава и поэзия в моём мире находятся в глубоком родстве.

В саду пылают астры августа
и георгины сентября.
И каждый день проходит запросто,
легко, но главное — не зря.

Сегодня яблоки поспевшие
ложатся ровно на чердак,
и мысли странные, нездешние
в тетрадь теснятся кое-как.

...Косить отаву переросшую,
картошку убирать «с полей»,
полдня читать книжонку тощую —
«томов премногих тяжелей»,

и подводить итоги скудные,
готовить почву наперёд...
И — чёрныночи неприлюдные,
когда — всего — тоска берёт.

Хорошо, когда приходят стихи, несмотря на муку, предшествующую их рождению.

Третью книжку я так и назвал — «Просто хорошо».

Пусть и в третий раз подряд прозвучит это невзрачное слово:

Какой хороший выдался денёк —
такой осенний, пасмурный, неброский...
Навстречу мне идёт почти не Блок,
скорее даже вылитый не Бродский.

Навстречу мне идёт мой детский друг,
и у него простое имя Юра.
Он не постиг значительных наук,
и что ему — твоя литература.

Он отмахал по утречку метлой,
идёт домой свободный и незлой,
не то чтоб счастлив, но ещё не вечер,
расскажет мне о женщине одной,
такой стервозной и такой родной.
Поговорим, что стало со страной.
И разойдёмся до случайной встречи.

* * *

После снегопада

Выйдет дворник с широкой лопатой
и очистит земные пути,
чтобы девочке маленькой с папой
хорошо было рядом идти,

чтобы женщина с трудной судьбою
поутру в магазин семеня,

хорошо говорила с собою
о печалях минувшего дня,

чтоб старушка в цветастом платочке,
на вечерние щурясь огни,
хорошо вспоминала о дочке...
Святый Боже, спаси-сохрани.

Божья коровка

О. К.

Бирюзовое небо сквозь стебли высокой травы.
Что за срочное дело сегодня у божьей коровки...
Безмятежны улитки, с утра муравьи деловы,
важен увалень-шмель, а кузнечики быстры и ловки.

Продолжается день бесконечно — сияя, сверкая, звеня.
Не наступит уже никогда тягомотина ночи.
Это кто — очень взрослый — случайно находит меня,
поднимает, ласкает, целует, щекочет, хохочет,

отпускает... И снова уводят земные пути,
снова божья коровка... Шепчу ей заветное слово:
долети... я тебе помогу... долети, долети
до родимого неба... лети же, лети... до седьмого.

Улица

Если выйдешь на улицу Ленина
и пойдёшь по ней медленно-медленно,
обязательно встретишь знакомого,
может, старого, может, нового.

А поскольку улица длинная,
и не скоро ещё до площади,
может быть, ты встретишь любимую
из совсем недавнего прошлого.

Ах, какая родная улица —
никуда не денешься — Ленина.
Здесь и Маркс гранитный сутулится —
в самом деле, немного ветрено.

Ну а может, встретишь случайную,
почему-то с утра печальную…
Обернёшься — уже не видно её.
Ах, какая улица длинная.

Хозяйка тишины

О. К.

получены ответы
задачи решены
живёт со мной всё лето
хозяйка тишины

живёт со мной всю зиму
весну и осень тож
и скуки я не иму
и в горе я не вхож

не напрягайте слуха
ни завтра ни сейчас
Всеслышащее Ухо
всё ведает про нас.

* * *

Всё пережить, во всём дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить —
всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит — жить, любить, и верить.

Время прозы

Недавно услышал, как один известный поэт заявил в интервью, что, достигнув определённого возраста, он себе сказал: «Всё, больше стихов я не пишу». И с тех пор действительно не написал ни одной стихотворной строчки.

Я стихами не командую. Если стучатся в дверь — как не отворить. Но в последние годы это случается совсем редко. Возможно, отчасти, дело в том, что мне всё больше хочется рассказать. А поскольку в стихах я чистый лирик, слова теперь естественнее выстаиваются в прозу.

И конечно, память, поиски утраченного времени… Моя мама в последние годы жизни постоянно записывала клочки воспоминаний, а приближаясь к столетнему возрасту, когда ей уже отказало и зрение, и память, просто представляла стоящей в книжном шкафу свою «Книгу жизни». По её записям, устным рассказам и своим впечатлениям недавно мне удалось написать и издать «Книгу жизни Шуры Королёвой». Наверное, к литературе она не имеет отношения, но для меня важно, что на её страницах время в своих несовершенных формах обрело словесно-образную плоть.

Никуда не деться и от того, что называется литературной жизнью. Радуюсь, когда вижу рядом талантливых писателей, и хорошо, если появляется возможность собрать их вместе, под одной обложкой. Сейчас такая возможность есть. Я составляю два альманаха: «Облака» и «Синие мосты». Дело, надеюсь, незряшное, там есть что почитать. И можно убедиться в том, что литературная жизнь на калужской земле богата яркими и глубокими проявлениями.

Не нужно торопиться ни жить, ни умирать

Недавно сказал мне мой старший товарищ:

— Ну что Саша… Дочь ты вырастил, деревья посадил, домик построил, а теперь и книгу жизни написал… Можешь, доживать спокойно…

Я согласился. Тем более, рядом со мной человек, с которым можно о утрам подолгу пить кофе на солнечной веранде, неспешно разговаривая обо всём на свете, или мчаться на велосипеде по вольным просёлкам, или читать по вечерам друг другу хорошие книги… Да всё можно вместе. Только пишешь по-прежнему в одиночестве. У меня даже стишок — из последних — к этой мысли найдётся.

В окне глухая осень —
тетеря из тетерь.
Темно, а только восемь,
сидишь — и что теперь.

Откроешь чью-то повесть,
черкнёшь в тетрадь свою,
и назубок, на совесть
запомнишь I love you.

Заснёшь — спокойно спится,
проснёшься ровно в пять.
Не нужно торопиться
ни жить, ни умирать.

На самом деле спокойно спится не всегда. Признаться, в юности, представляя свою будущую жизнь, я ждал от себя большего. Да и сейчас жду.

Из ранней прозы

Грешная каша

У старухи убежало молоко, которое она кипятила для внука. Осталось всего-то на чашечку. Молоко она брала у соседки; сама корову, как по ней ни тосковала, держать уже не могла, силы совсем истратились. А сын старухи жил в столице, поэтому на помощь приезжал нечасто. И то хорошо, потому что несколько лет она его совсем не видела: был он осуждён и сидел. Только недавно освободился.

Жена у него тогда умерла. Что ж он любил её! Это и представить невозможно. Они оба работали на стройке, деньги копили, думали жилья себе добиться. Тяжело работали. Бывает работа чистая. Вот у старухи квартирант стоит, учитель, всегда под крышей, в тепле, чего

не работать. И то всё чего-то недоволен. А на стройке поди поработай. Особенно зимой.

Жена у сына умная была. С мужем — шёлковая, с другими — крапивная. Как-то всё у них хорошо получалось. Уже и ордер выписали. Оставалось только ключи взять. И что за болезнь такая? Молодая женщина, крепкая, красивая — как легла в больницу, так сама и не вышла.

Сын по её смерти сначала как окоченел. Везде она к нему приходила, а он боялся. Знает ведь, что её нет — и вдруг стоит перед ним. Пить стал. А там известно, связался с какой-то бабой, вместе и пили, вместе и шумели. Побил он её однажды, та на него и заявила. Потом, когда уже осудили, прощения у него просила. А как вышел, хотела снова с ним жить. Но он не простил.

Снова пошёл на стройку работать. Там он себе и вторую жену нашёл. Плохо он её любит. С первой-то и не сравнишь. Привёз он её, когда ещё не расписались. Жалко её было. Вот пожила-пожила, и сын говорит:

— Я её обратно отвезу…

Старуха не позволила:

— Ты её взял девушкой, теперь не смей бросить, иначе я тебя за сына считать не буду.

Он оставил, теперь и живут, да не то чтобы хорошо. Сын её ругает, а она плачет. Так и живут.

Квартиры своей у них до сих пор нет. А внучок у старухи. Это ей и радость, и страх. Она за ним не поспевает. Лётает он где-то, а она смотрит в окно и думает, не утоп ли. Прошлым летом вытащили из реки чуть живого. Не привяжешь ведь. Его ноги сами носят, это ей их таскать приходится.

Так задумается, а молоко и убежит. Рублика три и пропало. Надо хоть кашки грешной сварить. Сын-то из столицы привозит, не забывает. Грешная каша вкусная, особенно если в печке натомится. Прибежит внучок, съест грешной кашки с молочком, он её любит.

Марина УЛЫБЫШЕВА

ПЕСЕНКА КОРОТКАЯ, КАК ЖИЗНЬ САМА

Из записных книжек

Досье.

Где родилась: Советский Союз, Казахская ССР, город Павлодар.

Где пригодилась: на кафедре начертательной геометрии в Омске в Политехническом институте, в многотиражке «Советский Иртыш», в газете «Молодой Сибиряк», в пионерском лагере «Артек», в Калужском отделении Приокского книжного издательства, в отделе культуры газеты «Весть», на телеканале «Радость моя», в книжных издательствах «Белый город», «Фома», в Калуге на телерадиокомпании «Ника».

Интересы: поэзия, литература, живопись, кино, детская литература, журналистика, море, музыка, гитара, вокал, аквариумные рыбки.

* * *

Сколько не начинала писать дневники, столько и бросала. Пройдёт время — перечтёшь и подумаешь — как глупо. Хорошо, что никто не видел. Покрутишь в руках да и выбросишь. А теперь, чем старше, тем меньше желания оставить после себя что-то на этой земле. Может, лучше прожить тихонько и уйти тихо, не взболтав прозрачные воды реки забвения, не подняв со дна ил и муть.

А жизнь со временем изнашивается, как платье, и остаются от неё только обрывки да клочки…

* * *

Однажды в далёком-далёком Омске в литературном объединении под руководством Татьяны Четвериковой Светлана К. написала стихи, которые посвятила мне. Чем меня очень удивила.

Марине У.

Приручали — столько счастья обещали.
Приручили и подумали — ручная.
А она внезапно одичала —
остро захотелось леса,
где что дальше — неизвестно
и где страшно от чудес.
Удержать сил не хватило — отпустили.
А вернулась так не сразу, так не вдруг,
недоверчивая, скованная, вся отвыкшая от рук.
Прижималась, бормотала: «Не отдашь меня?
Я не буду больше. Правда. Я — домашняя…»
… А уснула — проступили сны лесные.

Мы с ней (Светланой К.) не были особо знакомы, и мне до сих пор непонятно, как она уловила какую-то мою суть, мою больную точку. Пожалуй, всю жизнь меня тянули в разные стороны две силы: одна — желание домашнего уюта и покоя, вторая — неистребимое желание воли. Когда только спеть да ковыль, да пыльная дорога, да солнце в зените…

* * *

Родные гнёзда не на век
и птицы вили.
И люди — строили дома
и уходили.

Туда, где ветры холодней,
смелей метели,
куда с тоскою день и ночь
глаза глядели.

Прощанье было — боль в душе
от слов нелёгких.
Скользили блики по земле
от звёзд далёких.

Подкатывал такой простор —
подошв не жалко!
А угли жёлтого костра
пылали жарко.

И как огонь сжигало грудь
одно стремленье —
неодолимая потребность
в обновленье.

Но как восемнадцатилетняя девочка К. смогла понять то, что я не понимала, не осмысливала всю жизнь, для меня до сих пор загадка. Она не стала поэтом, у неё оказалась другая судьба. Она не стала поэтом сознательно, дав себе однажды обет отказаться от самого дорогого в её жизни, и слово своё сдержала. Права ли она в этом? Не мне судить. Но, думаю, она была бы чудесным поэтом, и странным. Очень не похожим на других.

* * *

Многие люди стали моими учителями, и я им за это благодарна. Своих учителей я находила вовсе не в школах, а в самых неожиданных местах. У прекрасных учителей училась прекрасному, у недостойных — противоположному. Всем благодарна.

* * *

Я родилась пугливой. И мне нравилась в других смелость. А себя приходилось преодолевать.

В детстве я панически боялась собак. Появления одной из паршивых мелких шавок где-нибудь у помойных баков было достаточно, чтобы я всю свою прогулку простояла в подъезде дома с гулко ухающим сердцем, внимательно следя за малейшими передвижениями несчастной собачонки.

Однажды такая милая дворняга с хвостом-колечком застала меня неожиданно в середине двора: отступать к подъезду было поздно. В отчаянном страхе я, буквально аки птица, не отрывая глаз от хвостатого чудища, взлетела на оказавшийся рядом теннисный стол. Собачонка, доселе спешившая по своим делам, конечно же, заинтересовалась пятилетней дылдой, взлетающей на теннисные столы. Она резко развернулась и с любопытством потрусила в мою сторону. Этого было достаточно, чтобы я, совершенно утеряв здравое рассуждение, начала (с подгибающимися коленками) отступать. Отступление длилось целую вечность, пока не закончилась поверхность стола, и я плашмя, больно, грохнулась на родимую землю. Что произошло дальше — помню с трудом. Кажется, меня спасла проходившая мимо женщина.

А потом помню такой случай — в 2016 году в Коктебеле после окончания Волошинского фестиваля — мне было пора уезжать. И чтобы попасть вовремя на вокзал (или аэропорт — не помню) надо было раненько, часов в пять утра, выйти на автобусную остановку.

Как только я вышла со своим чемоданом на колёсиках за ворота — я обомлела: в ста метрах от меня бродила стая собак. Их было штук тридцать. Ну, если учесть, что у страха глаза велики, ладно — штук двадцать пять. Разных — средних и крупных. И они не просто бродили

или лежали, они загоняли в угол какую-то мелкую собачонку, которая им чем-то не угодила. То есть они вели себя агрессивно: рычали, лаяли и нападали.

С другой стороны улицы был тупик, и другого пути у меня не было. И времени на раздумье тоже. Я превратилась в соляной столб и пошла.

Мелкая собачонка пристроилась за мной, и мы вскоре благополучно миновали опасный участок под лай и рык. Я никогда не смогу описать, что у меня в этот момент было внутри, и почему этот ничего не значащий для других, быть может, случай навсегда останется в моей памяти.

Кстати, почему-то именно не значащее и незначительное оставляет самый глубокий след в моей жизни: дурацкий рисунок из школьного учебника, запах полыни, хрустальные ледяные наросты под водосточной трубой, дождевой червь, переползающий протоптанную тропинку, ёлочная игрушка — поросёнок, завёрнутый в виде младенца в пелёнку и, конечно, два оленя на плюшевом коврике.

Эти два оленя рассмотрены, пересмотрены «до дыр» во время частых ангин с высокой температурой и болью в горле.

* * *

То, что звалось когда-то мечтой и дружбой,
прыгало мячиком вверх, звенело ключами,
то, что вернуть нельзя и уже не нужно —
всё это спать опять не даёт ночами.

Где это несогласное моё время?
Где это невозвратное моё пламя?
Там я не тем молилась, была не с теми,
книги не те читала, строила планы…

Где эти планы, книги, идеи, боги?
Может быть, что на полочке завалялось?
Не вороши, не оглядывайся, не трогай:
там ни ключа, ни мячика не осталось.

Но для чего же нас тянет вернуться в детство,
в комнату с плюшевым ковриком «Два оленя»?
Чтобы сквозь дни и ночи устроить бегство,
с детской обидой уткнуться маме в колени…

Но на погосте крест от мороза стынет.
Нынче зима холодная, ледяная.
Сколько ни всматривайся — только воздух синий.
И неизвестно, как там тебе, родная.

* * *

Одни слова приходят в язык, другие уходят. Дмитрий К., когда слушал песню Окуджавы «...всё то же на ней из поплина счастливое платье...», всегда думал, что платье — из павлина, потому что не знал, что такое — поплин.

А поплúн — это ткань, образованная сочетанием тонкой плотной основы с более грубым и редким поперечным утком (утóк — система нитей, которые в ткани располагаются поперёк длины куска, проходя от одной кромки к другой), образующим рубчик. Название ткани происходит от французского «popeline» и итальянского «papalino» — «папская», так как согласно легенде ткань была впервые изготовлена в резиденции римского папы в Авиньоне.

* * *

Я всегда любила незнакомые, необычные слова. Они мне ласкали слух. И вовсе я не торопилась лезть в словарь и узнавать их значение. Потому что непонятное тебе слово — оно, как тайна, и как сказка, и как чудо. И всё это очарование оно часто теряет, когда ты точно знаешь, что оно значит.

* * *

Вышла на кухню заварить себе чай. Кухня маленькая. А там муж посуду моет. И понадобилось ему кастрюлю положить в шкафчик, где я стою.

— Отойди, — говорит он, — что это ты тут СТОЛПИЛАСЬ.

* * *

Удивительную радость и... наслаждение... дают мне последнее время телефонные разговоры с писателем Юрием Убогим, человеком, который «на полморды лошади» впереди меня в том непредсказуемом путешествии, которое мы называем земной жизнью и конечным пунктом которого является смерть. Как было бы утешительно для души иметь такого собеседника до самого конца. Его слова — **если душа ориентирована верно, то она тьму перерабатывает в свет**. Сегодня он прочитал замечательные стихи Пастернака, как великолепный редактор, отбросив всё «лишнее» (а это десять! строф):

О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Марина Улыбышева с Юрием Убогим

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.

Быть может, у каждого писателя и поэта много лишнего. А выкинуть нельзя. Быть может, то, что лишнее для одного, для другого окажется совершенно необходимым.

* * *

Разговариваю с великим, на мой взгляд, пушкиноведом современности Валентином Семёновичем Непомнящим по телефону. Прошу совета.

— Мне заказали книжку детскую написать о том, что Пушкин сделал с русским языком. За что, мы, собственно, его ценим. Вы что по этому поводу думаете?

Замешательство в трубке. Искренне:

— Не знаю.

Через какое-то время:

— Это же тема докторской диссертации.

— Я понимаю, что тема сложная. Но её надо как-то просто детям раскрыть. Посоветуйте как.

— Знаете, Марина, я бы за такую тему не взялся.

* * *

Ну вот, посмеялись мы с Юрием Васильевичем Убогим, посмеялись. И он обещал мне нарисовать к Дню поэзии портрет. Называться он будет «Марина и страус», а подзаголовок — «Оба в ужасе». Сказал, что будет в этом портрете что-то от Брейгеля и даже от Босха.

Объясняю, почему — «Марина и страус». Целых два раза слово «страус» встречается в моих стихах. В том, которое как раз посвящено Ю. У.

— Работать, мой страус, спешить, на педали жать…

И в другом:

— Ах, душа моя, мой страус…

Я как-то предположила, что моя душа чем-то напоминает страуса — такая же нелепая, несуразная, птица — но не летающая, с крепкими ногами, но тонкой изящной шеей, и с невероятно огромными грустными глазами, обрамлёнными длинными ресницами. Мы даже с Димой ездили смотреть на страуса, живущего у одного предпринимателя недалеко от Тихоновой пустыни. День был холодный, пасмурный. Страус стоял за перегородкой одинокий, нахохленный, меся голыми ногами грязную глину. И некуда ему было спрятать свою маленькую бедную и красивую голову.

* * *

Юрию Убогому

Вперёд, вперёд. И нечего больше ждать!
Жизнь движется, манит, грубая, без пасторали.
Работать, мой страус, спешить, на педали жать.
Догнать, перегнать всех тех, которые постарались.

Догнать, перегнать, крутить, гнать и вертеть.
Терпеть — это важно. Держать, и смотреть, и видеть.
Жар-птицу схватить за хвост. За другими успеть.
Любить и дышать. Любить, а не ненавидеть.

Ах, как я лечу! Откидываясь. Наперевес.
Под горку и в горку лечу и кручу педали.
И крутятся вместе со мною река и лес.
И манят-пугают близкие эти дали.

Но здесь я как будто была. Здесь погас мой свет.
Горел и погас: ни кровли ему, ни крова.
Как будто по кругу мой мчится велосипед.
И я догоняю прошлое снова, снова.

Вот-вот я настигну свой вечно прощальный взгляд.
И всё ещё только будет и состоится.
Догнать, перегнать, дышать, не смотреть назад.
А только вперёд. За птицей моей, жар-птицей.

* * *

Снится, снится сон давнишний —
в тёмной прорези окна
наплывает, будто ближний
бакен, чёрная Луна.

Дрогнул якорь, оборвался.
Беспокойный и чужой,
чёрный космос разыгрался
одинокою душой.

Ах, душа моя, мой страус,
глина, пепел, жёлтый ил.
Этот космос, этот хаос
закачался, закружил.

Вот восходит Марс: кровавый
распускается бутон.
Вздрогнет слева или справа
бледным зеркалом Плутон.

Мчит Меркурий меднорогий.
И несёт меня, несёт
по накатанной дороге
в этот вакуум и лёд.

Ах, душа моя, мой мячик.
Голову сломя, лечу.
Вижу — впереди маячит…
А вот что — не различу.

Наплывает душегубка,
чёрным-чёрная Луна.
Ах, душа моя — скорлупка
в бездне вымысла и сна.

* * *

В чём особенность писания для детей? Допустим, вы попали на остров к папуасам и вам надо им объяснить, что такое реактивный двигатель. Они всех ваших терминов научных не знают и ракету никогда не видели. Ведь чем дети отличаются от взрослых — их мир знаний ещё мал, тонок и узок. Им всё объяснять надо на пальцах. Или на картофелинах, как Чапай в старом советском фильме объяснял ход предстоящего сражения. Поэтому надо взять воздушный шарик — то, что детям близко и показать, что если его надуть и отпустить, он полетит, по комнате как угорелый, и это и будет принцип работы реактивного двигателя.

* * *

За завтраком Д. задал вопрос:

— А что для тебя самое важное в литературе?

Ответилось как-то так:

— То, что она примиряет меня с этой жизнью. То есть, она *осмысливает* эту жизнь. Жить неосмысленной жизнью невыносимо.

* * *

По поводу легко или тяжело писать.

Диме, как полноправному представителю кинофестиваля «Русское зарубежье», поручили написать приветствие фестивалю от имени поэта и писателя Наума Коржавина. В эти годы Коржавин был очень плох (91 год как никак), а слеп был уже очень давно: с ним созвонились, он согласился сделать приветствие фестивалю, если кто-то напишет текст и с ним согласует.

И вот Дима писал этот текст. Уже три дня. За это время он написал несколько стихотворений и личных писем, несколько постов на страничку в контакте, переслушал для вдохновения несколько музыкальных композиций, перелистал и кусочками почитал три книги Коржавина, подаренные и подписанные нам поэтом… текст всё не складывался. Особенно мучило начало: как обратиться к публике? Многоуважаемые дамы и господа? Достопочтенная публика? Дорогие друзья?

Я посоветовала написать просто — «Дорогие мои!» Слово «дорогой», «дорогая» всегда стояли на первом месте в письмах Коржавина. Дима засомневался, не слишком ли сердечно, не официально как-то… Потом подумал, что, может, как раз и ничего. После нашего разговора ещё пару дней сидел за компьютером, что-то печатая. Потом убежал на работу.

Я подошла к компьютеру и увидела файл под названием — «Н. М. Коржавин». Решила полюбопытствовать, что же он сочинил. Открыла его. Это был чистый лист, чистый-чистый, вверху которого было написано:

— Дорогие мои!

* * *

Приходит племянник. Изучаем Фонвизина.

Ах, эта литература классицизма! Она как чересчур прямолинейный человек, ищет справедливости. И находит! Обычно в финале произведения. Она искренне верит, что цари должны быть мудры, подданные должны служить Отечеству, законы должны действовать, добро обязано торжествовать, зло обязано быть наказано. Но именно это и есть её Ахиллесова пята, в этом и есть её нежизненность, умозрительность, придуманность. В жизни всё не так: цари глупы, подданные — сволочи, закон — что дышло, добро только и надеется на воздаяние в раю.

Правдины и Стародумы — положительные герои классической литературы — ходульны, пафосны, от их нравоучений и правильных слов воротит, как от закисшего кулеша. Но почему? Разве заповеди Божьи не учат нас тому же — быть честными, справедливыми, верно служить Отечеству?

Учат. Но в чём тогда расхождение этих положительных героев с Истиной? В чём их фальшь?

Они всё оценивают и всех судят. И сами являются себялюбивым эталоном добродетели, гордящимися своей приверженностью к совести, чести и добру. Соответственно на их белом фоне отчётливей видна чернота отрицательных персонажей. Но сказано — не судите и не судимы будете. Они могут быть милосердны и прощать врагов своих (как Стародум прощает госпожу Простакову по просьбе Софьюшки), но прощает не по ЛЮБВИ, а потому, что кажется им это честным и справедливым. Не Богу Любви они молятся, а Богу Справедливости.

Вместе со своими героями этим грешат и авторы. Они пребывают в самообмане, дескать, достаточно только ПРОСВЕТИТЬ общество, человека, указать ему на то, что хорошо, что дурно, как тут же человек потянется к хорошему. На этот самообман, как рыба на крючок, кстати, попались и большевики. Ан, не сработало — люди хорошими почему-то не становились. Самообман классицизма — самообман эпохи просвещения, ловушка человеческого разума.

Поэтому ему свойственно критическое отношение к религии. Бог сделал Своё дело и якобы удалился. Теперь в мире действует разум, интеллект, который и призван этот мир усовершенствовать.

* * *

Можно пофантазировать — в каком веке хотелось бы жить? Конечно, интересно: представить себя в кринолине или в шкуре мамонта… Но всё-таки жить я хотела бы здесь и сейчас. Многие другие времена кажутся мне жестокими (взять хотя бы татаро-монгольские времена, Иоанна Грозного, петровские, сталинские). А нам, считаю, повезло. Наши времена комфортные, для тела-то точно — горячая вода, свет, газ, подушки такие, матрасы сякие, телефоны. А в жестоких временеах, наверное, могли выживать только люди сильные духом. Куда нам до них?

* * *

С чего начинается поэт? С пара под крышкой чайника. Когда чувства переполняют. Чувства могут быть разные — обиды на мир, восторга от его красоты, любви к человеку или что-то ещё, но переполняют они так, что их обязательно надо как-то выразить, выплеснуть на бумагу, облечь в слова. Иногда мне кажется, что поэт — это просто человек, у которого собеседника не оказалось рядом, чтобы выговориться. Или он, поэт, не так быстро формулирует свои мысли, а хочется выразиться как можно точнее, не будешь же с человеком произносить фразу, а потом её зачёркивать, переписывать, формулировать по-новому. Бумага же такую возможность даёт. И ещё поэт — это человек, быть может, которому всё жалко выкидывать. Он собирает свои впечатления в копилочку и хранит, как засушенные цветы. В общем, получается — нервный и скупой…

* * *

Тонкости восприятия. Несколько лет назад художник В. захотел нарисовать мой портрет. Когда я уселась в кресло, чтобы позировать, я совершила непоправимую ошибку, сказала:

— Только надо нарисовать так, чтобы было видно, что это не просто тётка какая-то, а поэт.

В. ничего не сказал, только как-то напряжённо и неопределённо хмыкнул.

Я поняла, что он закомплексовал. Моя сказанная под руку фраза как будто подставила ему подножку. Ну что такое — поэт? Что у него — ресницы длиннее? Кудри кудрявее? Чем он внешне отличается от среднестатистического гражданина? Чтобы вы вот так шли в толпе, увидели и вдруг сказали — вот это — поэт!

В. очень старался и нарисовал… тётку. Я посмотрела на портрет — поэтом там и не пахло. Ну носик, ну губки, ну щёчки, слегка уже поплывший овал: тётка и тётка. Я вежливо сказала «спасибо» и несколько лет к теме этого портрета больше не возвращалась.

И вдруг знакомая присылает мне смс-фото с этим портретом и с вопросом:

— Это не ты тут нарисована?

Я отвечаю:

— Я!

Смотрю: а хороший портрет-то! Явно, что художник над ним ещё потрудился, что-то переделал, поправил, приукрасил, возможно. И вроде не просто тётка сидит, а есть образ, глаза какие-то задумчивые, умные, рот закрыт, как будто что-то хочет сказать, но молчит. Да и овал ещё ничего.

Встречаю В.:

— А здорово ты мой портрет доработал! Мне понравилось, — говорю.

— А я его не дорабатывал! — отвечает В.

— Неужели?

— А что? Ты стала на него больше похожа? — спрашивает В.

— Да! Я теперь понимаю, что, может, я и не поэт вовсе, а просто тётка! Хороший портрет! Молодец!

В. загадочно улыбается и говорит:

— Молодец-то я буду ещё через несколько лет. Когда ты снова посмотришь на этот портрет и скажешь, что явно тут нарисована не просто тётка! А сразу видно, что — поэт!

Подожду.

* * *

На земле нет смысла радоваться ни одному из потрясающих открытий, совершаемых гениями. Какие бы лучшие мысли они не лелеяли, совершая прорыв в науках и технологиях, их открытия безвариантно будут использованы и во благо человечества и во зло. Сегодня генетика готова совершить беспрецедентные деяния, чтобы улучшить природу человека, лишить его болезней и страданий, но завтра найдутся те, кто направит её инструменты для выведения «новой расы» сверхвыносливых, сверхагрессивных или сверхпорочных людей. Потому что не отделены на этой земле овцы от козлищ. Двигаясь к «новому счастью», мы неизбежно двигаемся к своему концу.

* * *

Листая ленту, нашла любопытную информацию — человечество остывает. Это научно.

К таким выводам пришли американские учёные, проанализировав результаты трёх независимых исследований. Первое проходило с 1862 по 1930 годы, второе — в 1971–1975 годах, третье — с 2007 по 2017 годы.

Вывод подтвердился: с середины девятнадцатого века до сего дня мы остыли с 37 до 36,6 градусов.

Получить статистические данные за много лет — дело, конечно, трудоёмкое. Но ещё более трудоёмкое дело — объяснить, а что же происходит. На сегодняшний день заключение учёных таково — будто бы дело в снижении базового уровня обмена веществ, то есть количества энергии, которое человек тратит на повседневную жизнь. Ну да, гоняться за мамонтами нам теперь не приходится: мамонтов давно нет. Да и продукты питания нам теперь поставляют супермаркеты в таком виде, что очень трудно понять, кем или чем оно было до того, как попало в красивую упаковку.

Я, конечно, не учёный, но мне после этой информации сразу же захотелось сделать свои предположения о процессе. Далее — псевдонаучно.

А ведь этим можно объяснить многое.

Например. Обмен веществ у людей замедляется. А они привыкли есть три раза в день. Может, поэтому на земле растёт количество людей с ожирением? Честно, честно. Я вот точно ощущаю чувство голода только один раз в день. А всё остальное время ем за компанию, по привычке. Теперь-то мне стало понятно, в чём дело.

Но, если мы перейдём на одноразовое питание, то наш обмен замедлится ещё больше. А там уже и в спячку станем впадать как лягушки. Кстати, они холоднокровные. Неужели мы эволюционируем в сторону пресмыкающихся?

Горячая кровь, горячее сердце, горячая голова — все эти эпитеты всегда ассоциировались когда-то с неравнодушным, эмоциональным человеком, готовым загораться идеями, сочувствовать, сопереживать, бросаться на помощь…

Может, поэтому, мы теперь спокойно смотрим на экраны, где льётся кровь, и кому-то отрывают голову? Может, поэтому всё чаще мы равнодушно проходим мимо упавшего на улице человека? Может, поэтому снова и снова в наше мирное время появляются брошенные дети при живых родителях? Да и вся система правопорядка нашей цивилизации всё более вычёркивает из себя пункты с лазейками, где ещё можно было проявлять сочувствие, несмотря на систему.

Кстати, впереди планеты всей в этом отношении «гуманная» медицина. Врачам закрывают возможность рисковать, брать на себя ответственность по спасению больного. Они всё больше становятся придатками здравоохранительного регламента. Регламент определяет всё — наличие полиса, паспорта, употребление определённого лекарства для определённых болезней. Врач должен отчитаться, как лечил, чем лечил, почему вообще лечил, какое имел на это право.

Всё чаще знакомые жалуются, что в остром тяжёлом случае врачи отказывают в помощи, потому что им приходится делать непростой выбор — помогать больному или идти под суд. И это всё как-то незаметно вползло в нашу жизнь и пригрелось, как змея, под прекрасными словами об улучшении нашей медицины, о повышении квалификации докторов, о появлении новых потрясающих лекарств и технологий.

Иной раз очнёшься от спячки и вот так подумаешь… А за всем этим — женщина, которой отказали в принятии родов и она не доехала до роддома или девочка с острым аппендицитом, которая, слава Богу, доехала. А за всем этим — и твой близкий человек, который мечется

по городу в платные и бесплатные медицинские центры, от хирурга к хирургу и получает отказ в помощи, поскольку имеющиеся хирурги, оказывается, на ноге могут вскрыть абсцесс, а на голове не имеют права…

В общем, заморозьте меня. Пусть моя температура опустится до 35, и 34, и даже 33 градусов. Сколько там нужно, чтобы не чувствовать боль другого. Не сопереживать. Пусть я стану лягушкой до тех пор, пока не найдётся какой-нибудь Иван-Царевич с другой Земли, с другой цивилизации, где всё будет по-другому.

* * *

Сидим с Д. в кафе. Спрашиваю:

— Что ты знаешь о Поле Сартре?

— Ничего не знаю, кроме того, что он был эксгибиционист!

Я удивлённо:

— Ничего себе! Может быть, ты имел в виду — экзистенциалист?

Дима сурово, как человек, не любящий всякой мутной и сложной философии:

— Я думаю, это одно и то же!

* * *

Самое ужасное, что мы все умрём. Это же — и самое прекрасное.

* * *

В мире всё случается так, как надо…

В мире всё случается так, как надо.
В мире всё случается так, как должно.
Отчего ж в предчувствии листопада
на душе — тревожно?
Так на стылых ветрах дрожит берёзка.
Так на стылых ветрах дрожит осинка.
И травинке хочется от морозца —
под холстинку.
Ах, букашка малая — ротозейка,
слыша грай вороний в прорехах сада,
не жалей себя, не ищи лазейку:
в мире всё случается так, как надо.

* * *

То ли жизнь течёт, то ли мы протекаем сквозь неё.
То ли надо грести, то ли отдаться потоку —
ничего не понятно. Бытиё превращается в битиё.
Поднесёшь доверчивую ладонь, и ударит током.
Обесценилось что-то внутри. Пора принимать, что есть.
Когда нечего есть — иди и смотри на звёзды.
Есть одна лишь книга, которую следует перечесть,
когда все источники заражены и отравлен воздух.
Не пойму, не пойму, куда приклонить главу,
как свой страх запечатать в бутылку и бросить в море…
Но к Успенью, Введенью, отчаянью, Рождеству,
к Воскресению — я молюсь. И помню об уговоре.

Медленные стихи

Что делать осенью в саду?
Сгребать листву, искать слюду?
Ходить туда, сюда, потом сюда-туда?
Ломать сухую череду.
Смотреть на темень на пруду.
Туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда…
Да, облетает старый сад.
Да, обнажается фасад.
Дом стар как век, а век как дым исчез куда?
Удел — скитаться не у дел.
И небеса серы как мел.
Туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда…
Как много глины и песка
вон там, у дальнего леска.
Туман прозрачен и прозрачен пар у губ.
Штакетник сыр, сыра доска.
И забирается тоска
куда-то внутрь, куда-то в суть, куда-то вглубь.
Её укутаю платком
и убаюкаю тайком.
И никому не покажу, не расскажу,
как облетает сад, шурша,
как обнажается душа
И птицей тянется к иному рубежу

Жемчужная рыбка

В далёком-далёком пруду золотом
жемчужная рыбка махнула хвостом
и скрылась под толщей янтарной воды.
А ты?
А ты не лежал в тех жасминных садах,
не плавал в тех бархатных дальних прудах,
не пил ни живой, и ни мёртвой воды.
А ты?
А ты, осторожный мой друг-мукомол,
всё рожь молотил да пшеницу молол.
Конечно, воздастся тебе за труды…
А ты?
А ты, мой печальный неназваный брат,
ты счастлив, конечно. И всё же не рад.
Всё помнишь, как в детстве в пруду золотом
жемчужная рыбка махнула хвостом
И — бульк!

Галина УШАКОВА

О СЕБЕ

Галина Ивановна Ушакова родилась 21 декабря 1940 года в г. Новосибирске.. Окончила физический факультет МГУ, работала много лет научным сотрудником в институтах г. Обнинска, кандидат химических наук. Затем более десяти лет — журналистом в газете «Малоярославецкий край», позже — библиотекарем обнинской библиотеки. Стихи и короткая проза публиковались в местных СМИ. В 1996–1997 годах году была редактором городского детского журнала «Петрушка».

Принимала участие в организации творческих вечеров обнинских литераторов, выступала с рассказами о своём творчестве для детей перед школьниками города, участник всесоюзных и международных литературных фестивалей.

Издала три книжки сказок для детей, книгу о птицах «Между небом и землёй» (для детей), два сборника прозы, четыре сборника лирических стихотворений. Дипломант Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого («Сказка о Доброй королеве»), дипломант областного конкурса военно-патриотической поэзии им. А. Твардовского. Трижды принимала участие в Волошинском фестивале- конкурсе. В 2008 году — лонг-лист в номинации: проза. В 2009 году — Диплом конкурса в этой же номинации, в 2017году — лонг-лист. Публиковалась в журналах: «Сибирские огни», «Луч» (Удмуртия), «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ» (Харьков), «Берегиня» (Москва), в альманахе «Истоки» (Москва),, калужских альманахах»Синие мосты», «Облака», региональном журнала «ЛИФФТ», литературных сборниках г. Обнинска.

Член Союза российских писателей.

В настоящее время живёт в Обнинске.

Вид из окна

Когда долго вглядываешься в прошлое, прошлое начинает вглядываться в тебя…

Мой письменный стол стоит у окна и, работая, я частенько поглядываю в него. И, не работая, тоже поглядываю.

Это окно на балкон. Развесистая рябина с любопытством всматривается в комнату, да и не только рябина.

Заоконный мир глазеет на меня, я — на него.

Вид из окна меняется в течение дня, зависит от погоды и времени года. Как и текущая жизнь.

Вчера на рябину прилетело четыре снегиря. Пенно-розовые грудки, невесомость комков сахарной ваты. Потом к ним присоединился пятый комок, воздушно-пепельный — снегириха, отнюдь не страдающая от своей серости, если судить по её бойкому и независимому поведению.

Снегири меня всегда радуют, и эта радость почему-то больше, чем радость от синиц, которые навещают рябину и мой балкон почти ежедневно. Наверно, если бы снегирей я видела каждый день, а синиц лишь изредка, возможно, именно синицы возбуждали бы во мне это лёгкое чувство удовольствия. Как обрывок услышанной чудесной мелодии.

Если уже речь зашла о птицах, то замечу, что вороны тоже не ленятся посещать балкон и рябину и вписываются в заоконье не реже синиц. Впрочем, то же можно сказать и о галках. Только вот вороны всегда прилетают и улетают с наивной наглостью, оставляя впечатление особей, способных заслонить своими чёрными крылами немалую часть вида из окна. Галки скромнее. Они, не спеша, бродят по перилам балкона, склоняя головки то в одну, то в другую сторону. В ясный день хорошо видно блеск их любопытных глазёнок.

В непогоду, когда рябина уже сбросила листья, её ветки унизывают лунные камни — капли дождя, а зимой, после обильного снегопада, дерево выглядит снежной королевой. Дня через два оно теряет свой королевский вид и становится обычным, слегка заснеженным зимним деревом.

Когда на душе смутно, когда житейские неприятности начинают морочить голову, доводя до бессонницы, вид из окна становится моим лекарством.

В любое время года он — спасительная соломинка, как и те, другие виды из других окон, которые прошли через мою жизнь и о которых мне хочется рассказать.

Однако пока рассказ о нынешнем виде из окна, которому исполнилось почти двадцать лет.

Двадцать лет я гляжу в это окно, и ни разу мне не стало скучно. В моей квартире есть ещё два окна, но видами их них я пользуюсь постольку поскольку. Когда вожусь, например, на кухне или хочу продлить панораму моего главного окна. Зимой, к примеру, из него просматривается только кусок ледяного поля, где устроен школьный каток, а из двух других — каток и его посетители видны целиком.

Забыла сказать, что окна моей квартиры выходят на школьный двор. Здание школы, её ограда, двор, часть стадиона и всё, что там происходит — картина, оживляемая природой и присутствием человека.

Наверное, если бы из окон было видно море и южная растительность, это было бы шикарно, но такой вид мне никогда не принадлежал, я его и не жажду.

Мне хватает моего, тем более, что школа не загораживает небо, и летом я спокойно, не выходя на балкон или во двор, могу наблюдать из окна за бесконечными кружениями ласточек, чьи зигзаги иногда напоминают траектории падающих в августе звёзд.

Когда школа работает, детвора выбегает во двор на перемену, визжит, кричит, носится, как сумасшедшая и я, с одной стороны раздражаюсь от шума, с другой — заражаюсь детской энергией. Я становлюсь энергетическим вампиром, но детей так много, что они вовсе не ощущают, что некая старая дама отбирает часть их задора. Это в тёплое время года.

Зимой крики не слышны, а бег по заснеженному двору и барахтанье возле горки разноцветных фигурок напоминают мне картины Брейгеля, как и катанья детей на небольшом катке стадиона.

Живые картины старинного голландского мастера…

Нет, как бы человеку не было плохо, в каком бы мрачном заточении он не находился, но если там будет окно и вид из него, пусть хоть кусочек неба, то…

Но, может, этого мало, если нет свободы? Может, вид из окна — дар только для свободного человека?

В детстве меня поразил рассказ О. Генри «Последний лист». Тяжёлая болезнь сломила волю героини. Она смотрела в окно на опадающие листья плюща и говорила: «Когда упадёт последний лист, я умру». И вот остался один-единственный листок. Вопреки осенней непогоде, ветру, дождям он держался и держался на ветке. И его упорство придало героине сил. Она начала выздоравливать… Тайна вечности непокорного листа была проста: он был нарисован соседом-художником.

Всю жизнь с каждым из нас — вид из окна. Дома, где прошло детство, а, возможно, и юность. Общежития, когда ты учился. А дальше — окна взрослой жизни… Одно за другим.

«А из нашего окна площадь Красная видна…». Это из стихотворения Сергея Михалкова, запомнившееся с детства, читаемое потом детям, внукам. Не знаю, почему, но, любя Москву, Кремль, никогда не хотела иметь окно с видом на Красную площадь. Хотя городской житель и выросла «на асфальте», как говаривала моя мама. С видом на вишнёвый сад, пожалуйста. На поля-луга-реку, церквушку — замечательно. На палисадник с сиренью, когда, перегнувшись через подоконник, можно сломать влажную от росы ветку с душистой кистью и поискать в ней «счастливые» цветки с пятью лепестками.

Реальный вид из окна был разным, но всегда любимым. Может, потому, что мне везло с окнами. Но только не с больничными. Хотя кому-то попадаются и там приличные виды на заоконный мир. Любимыми они, конечно, стать не могут — больница всё-таки! — но зарядить надеждой, что скоро-скоро этот вид из окна сменится другим, домашним — такое эти окна внушить способны. Однако, оставим эту тему.

Когда-то жила я в деревянном двухэтажном брусчатом доме с тёплыми — всегда! — стенами: дерево ведь живая плоть! Два почти сдвоенные окна моей комнаты выходили во двор с огромной сосной и столиком со скамейкой под ней. Далее шёл забор, у которого росла такая высокая и раскидистая груша, что в пору её цветения, а цвела она всегда очень обильно, огромные гроздья белых цветов покрывали кружевами весь забор. Мне порой чудилось, что груша вот-вот перешагнёт через штакетины и заполонит собой двор. Этот вид из окна в любое время года и любую погоду вызывал во мне странное чувство. Мне казалось, что живу я не в этом городе, а совсем в другом месте. Что вот-вот закрутятся неизвестные мне события и со мной случится что-то необычайно хорошее. Жизнь моя совершенно изменится. Мне не придётся ходить через весь город к восьми часам на нелюбимую работу, по вечерам читать до одури толстые учебники и скучать по дочери, живущей далеко от меня.

Я любила этот вид из окна двенадцать лет и люблю до сих пор, оживляя его в своём воображении.

Вид из кухонного окна брусчатки был сиротский. Он включал в себя металлическую вышку слева и дощатый домик справа. В домике располагался плодово-овощной магазин, пользующийся популярностью не только среди брусчатых домов, но и среди кирпичных на ближней улице. Был виден из окна и проулок, через который жители проходили из брусчатого околотка в город на проспект Ленина. Если бы не этот проулок, то попасть к нам можно было только окружным путём, неудобным и длинным.

Проулок был бичом божьим. Тёмным и страшным местом. Нехорошие люди, пользуясь темнотой, нападали на прохожих, били их и грабили. Пришлось и мне однажды испытать жуткую гадость бессилия, когда в кромешной тьме борешься с невидимым врагом, защищая себя и надеясь разве что на чудо. И потом дома, в безопасности, долго не можешь стащить обледеневшие варежки с дрожащих окостенелых рук.

Плохое в жизни существует для того, чтобы мы ценили хорошее.

А мы, бывает, хорошее принимаем за плохое…

Вот и мой сегодняшний вид из окна первоначально казался мне слишком индустриальным. Здание школы, за ним дома. Слева и справа тоже дома. Незатейливый пейзаж. Но, притерпевшись и приглядевшись, нашла я и в нём свои красоты.

Высокая рябина, дотянувшаяся до моего четвёртого этажа, пышные клёны школьного двора, сам двор, на который время от времени цветными горошинами выкатывалась детвора, поляны стадиона. Небо. Тёмное и мрачное по непогоде, синеглазое, улыбчивое под солнцем. Жёлтый свет ночных окон дальних домов отражается в стёклах моего книжного шкафа, стоящего напротив балкона. А летом, когда солнце заходит, глаза слепят бликующие огненные пожары в окнах девятиэтажек с западной стороны.

Вид из окна оказался панорамным.

Весной с удовольствием наблюдаешь, как нежная зелёнка окрашивает рябину и клёны. Как исчезают из заоконного декора снегири и синицы, но появляются воробьи. Галки и вороны не в счёт. Они, как роспись на скале у моря: «Здесь был Вася».

Летом двор и стадион пустеют, школьное здание растворяется в зелёном тумане, на балконе в ящиках зацветает герань, ласточки чертят в небе невидимые зигзаги, в грозовые дни крупные капли дождя ползут по окнам, молнии полыхают над крышами школы и соседних с ней домов.

В августе за окном зелень смешивается с охрой, на рябину нападают стаи дроздов, потом свиристелей.

Я прижимаю к окну «мыльницу» и фотографирую птиц, ставших на время фоном моего окна.

Гроздья рябиновых оранжевых бус пустеют.

Ветер мотает деревья, раскручивает в воздухе листву.

Осень.

Сначала золотые, потом потускневшие, листья ложатся на балкон, покрывают цветочные ящики с землёй, из которых торчат будылья отцветших бархатцев со смешным названием «Маленький герой».

На следующий день вижу те же стебли, присыпанные первым непрочным снежком. К вечеру он стаивает…

Меняющийся вид из окна, бегущие дни, месяцы, годы… Жизнь не склонна к остановкам, и не только не войти дважды в одну и ту же реку, но и не увидеть дважды один и тот же вид из окна.

Я люблю зиму, хотя приближение её конца, выраженное таянием снега, обросшего к началу марта грязью и собачьими экскрементами, отторгает меня от самого любимого времени года. Правда, бывает, что март возвращает и белоснежность, и чистоту, и лёгкий свежий морозец, но, ах! — ненадолго. Мне же хочется, чтобы зима длилась, длилась и длилась. Её завершение страшит меня. Её завершение подчёркивает неумолимый бег жизни. Неотвратимый конец. И мне кажется, если зима будет бесконечно длинной, то бесконечно продлится и моя жизнь.

Свой самый первый вид из окна я не помню. Знаю город — Новосибирск. Знаю улицу — Красный проспект. Помню комнату, в которой прошли мои первые детские годы. Круглый стол, покрытый длинной, до полу, скатертью, под которой было так интересно прятаться. Светло-желтый шкаф с двумя дверцами, одна из которых в верхней части была стеклянной. Помню и стекло: зеленоватое, ребристое. Ещё свою детскую деревянную кроватку с перильцами и длинный диван, над которым висел застеклённый портрет. Звали его — «Пушкин». У человека на портрете — большая курчавая голова, а на шее и плечах — бабий платок. А окно комнаты в памяти не сохранилось.

Зато сохранилось другое окно, огромное, почти во всю стену. Я ставила своего двухлетнего внук на подоконник, и мы вместе глядели — нет, не на небо, а вниз. Там текла шумная громадная улица, заполненная бегущими машинками. С высоты девятого этажа машинки выглядели игрушечными, что очень забавляло внука да, признаюсь, и меня. Этот вид из окна в студенческом общежитии возвращал мне детское видение мира.

Раз уж речь зашла о годах малолетства, то я вспоминаю свой второй дом.

Дом в маленьком западно-украинском городке, зовущийся в моём детстве тёплым именем Станислав. Улица, где мы жили, носила таинственное для детского уха название — Матейка.

Построен дом был, по выражению местных, «за Польши». Тут надо сказать, что Западная Украина с 1921 по 1939 год входила в состав

Польши. В моей памяти осталось бытующее среди местного городского населения (после войны) обращение — пан, пани. Жители из сёл обращались к друг другу — газд и газдыня, что на прикарпатской мове означало хозяин и хозяйка.

Так вот, дом.

Дом был двухэтажным.

С архитектурными особинками.

Две стены были глухими.

Первый этаж поднимался довольно высоко над землёй.

Кухня, первая и вторая комнаты шли анфиладой. Из второй комнаты боковые двери вели в третью, та соединялась с четвёртой, из четвёртой можно было попасть в первую через маленький коридорчик с чуланом.

Таким образом, все пять помещений образовывали замкнутый круг. Кольцо Мёбиуса?

Всю жизнь мне снится этот дом. Я его любила. Он был и остался для меня духом места.

Потерянный рай детства…

Вход в квартиру шёл через кухню. Выходная дверь запиралась не только ключом, но и тяжёлым деревянным засовом. Подразумевалось, что бандиты, а тогда, в конце сороковых и начале пятидесятых в городе было неспокойно, такую дверь нипочём не выбьют!

Окна кухни и первой из комнат смотрели на опоясывающий их балкончик с крылечком, выходящим во двор.

Бабушка из кухни следила за гуляющими по двору курами, высматривала, кто к нам идёт, караулила приход почтальона.

Их этих окон был виден весь двор, забор, отделяющий двор от огорода и соседей, две огромные акации, ореховое дерево, сквозь ветки которого белой длинной полосой светилось здание свечного заводика дядьки Юрася.

Юрась был поляком и говорил на ужасающей смеси польского, украинского и русского.

Он и его компаньон, чьё имя выветрилось из моей головы, делали свечи. Весь процесс — от заливки парафина в специальную ёмкость до вытягивания с помощью специального механизма длинных белых свечных шнуров — мы, дети, не только наблюдали. Благородный Юрась давал нам покрутить маховик, напоминавший огромный штурвал. Свечные шнуры наматывались на барабан, затем поступали на чёрную конвейнерную ленту, где их нарезали на свечи разной длины.

О, какое это было для нас счастье пособлять в работе дяде Юрасику! Вдыхать запах парафина! Нести домой заработанную свечу!

У меня очередная ангина, горло закутано тёплым платком, гулять выходить запрещено. Единственная связь с внешним миром — окно.

Ангина настигала меня зимой. Я отодвигала с окна белую занавеску и долго, оцепенело, смотрела и смотрела во двор, со сладким страхом ожидая из круговерти снежинок появления Снежной королевы.

Я была Кай, которого уносили волшебные сани, и я была Герда, чья любовь растопила лёд в сердце брата.

Два окна большой комнаты, где за праздничным столом собиралась вся семья, выходили в сад. Они всегда были затемнены из-за растущих вблизи деревьев. Только ранним утром узкий лучик солнца ненадолго скользил по паркетному полу.

Из-за высокой посадки окон нам, детям, приходилось пользоваться помощью табуретки или стула, чтобы добраться до них. Зимой на стёклах расцветали изумительные ледяные джунгли, заставлявшие работать нашу детскую фантазию.

Третья комната была самая светлая из-за широких окон каменного балкона с крыльцом, спускающимся в сад. На зиму балконную дверь запирали и утепляли. Да и летом этим выходом из дома почти не пользовались.

На балконе мы прятались, играя в саду в прятки.

Почему, почему я так подробно помню этот дом?

Планета детства…

Сент-Экзюпери уже написал «Маленького принца». Но я-то прочла его только через двадцать лет!

В последней комнате окон не было. Часть её переходила в застеклённый эркер, выходящий во двор. На втором, соседском этаже, на крыше эркера, — большой балкон, вернее, терраса, с которой открывался вид на окраинную часть города.

Я любила эркерный уголок и воспринимала его как личную территорию, чему мама моя не препятствовала. Здесь был мой читальный зал, мои стопки книжек, моё хозяйство с детским добром.

А сколько часов провела я на стуле у окон эркера, уплывая в свои думы, мечтая бог знает о чём или примеряясь, на какое дерево акации можно будет забраться, когда подрасту!

От акаций взгляд скользил к огороду, где бабушка то полола, то поливала, то собирала немудрёный урожай.

За огородом шло картофельное поле, где мы с товарищами жгли костры из картофельной ботвы, играли в «штандер» или до поздних сумерек гоняли в футбол.

Прекрасная была жизнь!

Дом наш был с чердаком и дымоходом, в жерле которого бабушка коптила колбасы, когда забивали кабанчика.

На втором этаже жила другая семья, без детей, и каковы там были виды из окон, мне неизвестно. Но, как бы они не были прекрасны, они мне не принадлежали, хотя моё любопытство к ним снисходило.

Многое, из чего складывалась моя детская жизнь, подзабылось, многое вытекло из памяти навсегда, как сбежавшее молоко. Но только не виды из окон… И почему моя сирая память, затемнив до неузнаваемости немало дорогих лиц — л и ц! — сохранила их?

Нет у меня ответа…

Проглядывая написанное, думаю, кому достанет терпения прочесть эти заметки?

Читатель обычно пропускает описания природы и архитектуры, если они не носят какой-нибудь экзотический характер, не очень жалует и бытовые подробности, Но вот парадокс: эти скучные для иного читающего места — вместилище души автора. Убери их — и вполне может получиться непритязательный комикс на все времена.

Вспоминая школьные годы, как не вспомнить школьное окно? Как часто отвлекало оно от голоса учителя, шёпота соседа, звонка на желанную перемену! Неужели майское рассматривание широколистных каштанов с розово-молочными пирамидками соцветий могло быть интереснее теоремы Пифагора или сочинения на тему « Пейзаж в лирике Некрасова»? Или взглядов влюблённого мальчика, пускавшего из-под парты солнечного зайчика в твою сторону?

Густолистые каштаны по-прежнему заглядывают в окна школьного здания, где нынче уже не школа, а гимназия. И окна не те, что были в мои времена, а современные, пластиковые. И с улицы не разглядеть, смотрит ли кто на старый каштан в классе на третьем этаже?

Мне было двенадцать лет, когда вид из моего окна сменился. Сменились и улица, и дом, и сад.

Город потерял своё старинное имя Станислав и обрёл новое: Ивано-Франковск.

В нашей семье появился мужчина, отчим, потом маленький мальчик, брат.

Мы переехали в квартиру отчима, в особняк, на второй этаж.

Теперь мой старенький письменный столик стоял у окна, из которого просматривалась часть улицы и палисадник соседнего дома. Я вижу то неспешно трусящую собаку, то женщину из дома напротив, идущую из магазина. Вот она останавливается, к ней подходит наша

соседка, я знаю, она — зубной врач, принимающая на дому. Говорят долго, смеясь, жестикулируя, расходятся, потом возвращаются и снова разговаривают, разговаривают. Скука!

Каждый день я видела из моего окна собак, прохожих, соседей, детей. С портфелями или папками для музыки. Одних или с мамами. В палисаднике буйно цвела жимолость и жёлтые шары, потом всё желтело и облетало, в дождь окно слезилось, зимой стёкла покрывались по углам белыми льдистыми узорами.

Два других окна квартиры были в большой комнате. Одно я любила за то, что вблизи росла лиловая сирень. Я садилась на подоконник, пригибала ароматные ветки к себе и становилась девочкой в сирени с картины Врубеля. Я делала это всё время, пока сирень цвела. Иногда отламывала богатую кистями ветку и ставила в вазу на рояль. Для мамы. Она любила запах сирени.

Второе окно выходило в сад, и под ним тоже росла сирень. Махровая, густо-бордовая. Но до неё было не дотянуться. Зато через это окно хорошо просматривался весь сад. Тётя Кэти, соседка снизу, с развёрнутой газетой в руках. Газету из-за близорукости она подносила почти к самым глазам и медленно, читая на ходу, шла по дорожке сада. На её голове всегда красовалась чёрная шляпка с букетиком матерчатых цветов за лентой. Шляпка предполагалась как защита от солнца, хотя сад был настолько тенист, что найти место в нём для приёма солнечных ванн было невозможно.

Осенью большой орех, росший на разделительной полосе между нашим и соседним домом, по утрам ссыпал орехи на землю. Мы с мамой высматривали в окно, собрали соседи весь урожай или нет, и, если орехи всё ещё валялись на земле, спускались за ними в сад.

Дерево настолько было плодовитым, что его трудов хватало на всех.

Но вот ещё одно окно, кухонное.

Кухонное было клад. Оно выходило на крышу терраски первого этажа, куда опускалось множество веток белой сливы из соседнего сада. Летом по крыше бродили голуби, поклёвывая переспевшие плоды. Я вылезала на неё через окно, железо крыши погромыхивало, голуби сторонились, уступая мне часть добычи. Сливы просвечивали на солнце, на изломе сверкали сахаром, оставляли липкий след на руках. Мама варила из них компот.

Давно нет мамы, нет отчима, давно в том доме живут чужие люди, сирень высохла, и её срубили, как и белую сливу.

Я закрываю глаза и вижу все наши окна. Ветки сирени, облепленные душистыми цветущими кистями, снежные пальмы на оконных стёклах, горлиц, воркующих под кухонным окном.

Среди незабвенных видов из окон были и быстротекущие, временные, которые, не улетучиваясь окончательно из памяти, всё же уступали место более основательным панорамам бренного мира.

Это виды из окон поездов.

Самый дорогой из них повторялся из года в год много лет, пока я ездила в гости к матери на Западную Украину.

Поезд приближается к городу, и я прилипаю к окну. Мост, под которым снуют автомобили, чуть повыше его медленно плывут дома пригорода, один из них обвит плющом.

Я волнуюсь. Я всегда волнуюсь, когда подъезжаю к этому городу, хотя выросла в нём и знаю его наизусть. Угнездившись в России, я бывала в нём каждый год, пока там жила мама.

Я всегда знала, что увижу в окне поезда в последние минуты перед конечной остановкой.

Пейзаж в окне зависел только от погоды и времени года. Зависел ли он от людей? Тогда — почти нет, сейчас — не знаю, ибо давно остались в прошлом те места.

Память чётко рисует медленный ход привокзальных строений, решётчатый забор с калиткой — служебный выход в город, наплывающий асфальт платформы.

Крыша перрона с узорчатой железной бахромой, сам перрон чисто выметен и заполнен толпой встречающих. В глубине его видны окна вокзала и снующие там люди.

Вот и мама с букетом цветов. Она всегда встречала меня с цветами, даже зимой. Отчим нередко составлял ей компанию. Всегда в светлом костюме, шляпе, с неизменной палкой в руке.

Когда я уезжала, все картинки следовали в обратном порядке.

Вот ещё один движущийся вид из окна.

Поезд подходит к Киеву. В Киеве живёт — боже мой! — уже надо говорить: жил — двоюродный брат, рядом с которым прошли мои детские годы.

В Киев я наезжала всегда летом. На недолго. Погостить.

Город начинался с пригородов, чьи названия мелькали на платформах так быстро, что я не успевала их прочитывать. Потом в кадр окна попадал Днепр, широкий и могучий, с разбросанными по нему зелёными островками. Мелькали лодки с рыбаками, белые катера, отдыхающие граждане на песчаных плёсах. Вдали, среди зелёной кипени, окаймлявшей берега, просматривался и сам город. Захватывающая картина! Почему-то в эти минуты я всегда вспоминала эпизод из повести А. Гайдара «Судьба барабанщика». Герой повести, Серёжа, увидев в окне поезда великолепный

пейзаж с широкой светло-лазурной рекой и невиданно прекрасный город, в удивлении и восхищении спрашивает своего попутчика:

— Это что?

И тот отвечает кратко:

— Это всё называется город Киев!

Ах, как люблю я эти киевские виды из окна поезда!

Киев — город, в котором хотела бы я жить. Город, в котором обитала на Подоле — сто лет назад! — мать моей матери, бабушка Маша. Несла свою беду, подымая четырёх дочерей, работая «по людям» — прислужкой, прачкой, уборщицей. Мужа не было. Его забрал голодомор.

Жизнь семьи изменилась, когда старшая дочь Катя вышла замуж. Это была романтическая история, я помню её из рассказа бабушки.

Тётя Катя была красива, возле неё крутилось немало ухажёров. Один их них был командиром Красной Армии. Он частенько верхом подъезжал к дому, где они жили. Спешивался и шёл объясняться с Катей. Катя к Ивану Фроловичу, так звали командира, относилась вначале сдержанно. Но конь и настойчивость всадника постепенно смягчали её сердце. Тем более, что бабушке будущий зять очень нравился: военный, в чинах, с орденами. Будет опорой и для Кати, и для неё.

Так и оказалось. Красный командир взял в приданое за женой её мать и трёх младших сестёр. Содержал всех. Потом сёстры выросли, оперились и улетели из Катиной семьи.

А Иван Фролович воевал. Воевал в Гражданскую, на Халкин-Голе, в Финскую, в Великую Отечественную. В конце сороковых — начале пятидесятых — с бандами украинских националистов.

Бабушка помогала Кате растить детей, стирала, варила, парила, убирала. Пережила и её смерть, и смерть зятя, и умерла в возрасте девяносто с лишним лет. В любимом ею в Киеве, куда, уже в пенсионном возрасте, перевели с Западной Украины полковника Ивана Фроловича.

Все три окна киевской квартиры смотрят на улицу Кудрявскую, на здание напротив, на уголок сквера. И как щемит моё сердце, когда подхожу я к этим окнам и смотрю туда, куда не раз смотрели те, любимые мной люди, которых Бог забрал к себе.

В детстве читала книгу о зелёном луче. Его можно увидеть только при заходе солнца, когда с горизонтом смыкается яркая узкая полоска края светила. В этот момент и появляется зелёная неземная вспышка.

Много лет я со своего балкона на одиннадцатом этаже — первая в нашей жизни с дочерью собственная квартира! — пыталась выследить таинственный луч. Не удалось. Но какие я видывала закаты!

Все наши окна выходили на одну сторону, поэтому вид из них был всё равно, что вид из одного окна.

Частью этого обзора был соседний дом, но если переместить взгляд вправо, то открывалась великолепная панорама окраины. Тогда ещё городская застройка не тронула её. И лежали перед моим взором, как на ладони, широкий луг, смыкающиеся купы деревьев вокруг Белкинских прудов, сама деревня Белкино и лес рядом с ней.

В майские вечера на балконе было слышно переливчатое щёлканье белкинских соловьёв.

А закаты! Они завораживали. Они не давали оторваться от окна, и я прослеживала всю процедуру захода солнца от начала и до конца.

Глядя на разнообразие красок, вспоминала картины импрессионистов, которые писали один и тот же пейзаж в разном его состоянии: утреннем или вечернем, освещённым солнцем или затуманенном дождём.

Приходящих ко мне гостей я обязательно «угощала» закатами.

Пришло время, я переехала и с одиннадцатого этажа спустилась на четвёртый, окна которого, как я уже рассказала, выходят на школу. Долго не могла привыкнуть к отсутствию свободного широкого горизонта. Но привыкла и начала находить в новом виде из окна свои прелести.

Иногда я думаю, какой вид из окна будет там, куда нас всех забирает Бог…

Юрий ХОЛОПОВ

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

Американский писатель Эрнест Хэмингуэй, которого шестидесятники надёжно прописали в пантеон самых лучших зарубежных прозаиков, утверждал, что в основе всякой серьёзной писательской биографии лежит несчастливое детство. Наверное, в этом что-то есть, но должно быть что-то ещё, что-то более значительное, чем судьба одного человека, что-то огромное, эпохальное, незабываемо-трагическое, оказавшее серьёзнейшее влияние на формирующееся мировоззрение не только растущего человека, но и на всё поколение. И приходит это «что-то» к будущему писателю через близких ему людей, да так порой незаметно, что он потом и сам, став зрелым человеком, удивляется: откуда же всё это у него в книгах появилось? Почему? Ведь сам-то он этого не переживал, не видел! Порою кажется, что творческая жизнь человека значительно длиннее его земной и начинается ещё до его появления на свет, зарождаясь в его предшественниках…

К восьмидесяти семи годам у моего деда по матери Иосифа Алексеевича Зорина 1904 года рождения стали дрожать руки, и старик перестал бриться. Исполнять эту обязанность он возложил на меня.

— Я человек военный, люблю, чтобы всё у меня было в порядке. А то буду ходить как партизан…

Работая журналистом-газетчиком, я нередко уезжал в командировки, поэтому частенько намыливал ему щёки, когда они уже основательно зарастали седой щетиной. До сих пор помню его длинный узкий шрам под подбородком, над самым кадыком, — здесь водить бритвой надо было осторожнее… Эту меточку дед получил в начале сорок второго, когда учил военному делу молодых солдат, прибывших из Казахстана. Дело элементарное: взвод в обороне, взвод в наступлении, стрельба из трёхлинейки по мишеням, обучение штыковому бою… А лазить приходилось по глубокому снегу на берегу реки Истры, неподалёку от разорённого старого монастыря, где и обосновался в то время учебный центр новобранцев.

Рассказывал: «Только вывел солдатиков на берег реки для обучения, вижу — летит немец. Я сразу распознал, недаром в конце сорок первого в маршевых ротах повоевал, а мои-то «варежки» разинули, кто-то из них вообще первый раз в жизни самолёт увидел. Пока согнал их в сугробы под берег реки, сам припоздал. А немец чесанул очередью да недалеко бомбочку сбросил. Рвануло — ничего не почувствовал, только потом, когда самолёт улетел и мои вылезли из-под берега, что-то горячо у меня за воротничком стало…»

Осколок немецкой бомбы, едва не разрубивший горло моему деду, канул в глубокие подмосковные снега.

Были у деда и другие меточки: пулевые ранения в предплечье левой руки и в икру правой ноги. Оба сквозные, но лёгкие, костей и артерий не затронуло. На коже что-то вроде маленького полумесяца-насечки — вошла пуля, а выходное отверстие — небольшая ямка с неровными краями. Это память о том, когда, будучи связистом на Калининском фронте в конце сорок второго, прокладывал с напарником в лесу линию связи и наткнулся на немцев, таких же связистов. Пока сбросил катушку на землю и передёрнул затвор винтовочки, немцы дали очереди из автоматов, а сами убежали.

Если учитывать, что дед был на фронте с октября сорок первого года по май сорок пятого, иначе как счастливчиком его не назвать. Была ещё контузия, когда немецкий снаряд накрыл землянку связистов, завалив её, но контузию он не считал ранением, хотя в военном билете есть запись: «контужен 12 мая 1944 г.», а со слухом после войны начались проблемы

Жил он с бабушкой Галей в деревне Аненки Ферзиковского района, в одном километре от знаменитого Авчурино. Наши молодые родители, проживавшие с середины пятидесятых до начала шестидесятых в селе Ахлебинино (это в двух километрах через Оку) и работавшие в Ахлебининской трудовой колонии для несовершеннолетних преступников (позже на месте колонии была создана психиатрическая больница) частенько отвозили двух непоседливых сыновей в деревню Аненки — к бабушке и дедушке.

Мои дедушка и бабушка И. А. Зорин и Г. С. Зорина (Долгопят), с. Ува (Удмуртия), 1950 г.

Братья Александр и Юрий Холоповы в д. Аненки Ферзиковского р-на, 1960 г.

Что мы могли видеть с братом в Ахлебинино? Унылый дощатый забор исправительного учреждения рядом с нашим небольшим домиком, длинные липовые аллеи, посаженные ещё фабрикантом и коннозаводчиком Коншиным по которым мы носились со своими ровесниками, пилораму на крутом и высоком берегу Оки, где сердитые дядьки распиливали сосновые брёвна на доски, старый Красный дом — флигель усадьбы фабриканта-помещика, футбольное поле, куда нас, малышню, более взрослые ребята, гоняющие мяч, не пускали... Родители всё время на работе...

А вот в деревне Аненки, что находилась напротив Ахлебинино, через реку, на левом берегу Оки, было намного интереснее. Там процветал крестьянский мир, где находилось немало дел и для больших, и для маленьких. Старики держали хозяйство: двух коз, поросёнка. индюков, уток, кур, собаку Джека, кошку Мурку с котятами. За деревянным домом, рядом с которым дедом была построена баня с высоким чердаком (там сушились берёзовые веники и различные целебные травы), раскинулся большой сад с огородом, за ним — большой участок, засаженный картофелем и сахарной свёклой. Окна нашего дома смотрели на дорогу, за которой, на небольшой лужайке, горбился небольшой каменный сарай, где дедушка плёл верши и корзины, подвешивая их к стропилам сарая, что-то постоянно строгал на низком верстаке, а тут же рядом — небольшая лодка-долблёнка, наполненная свежими стружками на которые так приятно было прилечь.

Впрочем, залёживаться нам с братом старики не давали. Дед свой предпенсионный год дорабатывал в Пнёвском лесничестве, где сажал ёлочки. Поэтому поначалу мы находились в руках бабушки, которая умудрялась не только хлопотать по хозяйству, но и зорко следить за внуками. Меня и брата, спавших на печке, бабушка утром быстро поднимала, наскоро умывала и поила козьим молоком. Затем мы втроём, вооружённые хворостинами, гнали коз и козлят через лужайку к небольшому утиному прудику, и дальше — вниз, к небольшой безымянной речушке, густо поросшей ивняком, где уже паслось наше деревенское стадо, состоящее из трех-четырех коров, и нескольких десятков овец и коз.

— Чтой-то ты, Галина Степановна, сегодня припозднилась, солнце-то давно взошло, — весело втречал её Колька-пастух, одетый в старую плащ-палатку, и сам загонял своим кнутиком нашу животинку в стадо. Поговорив немного с пастухом, бабушка передавала ему небольшой узелок с завтраком, а мы с братом, прочёсывая босыми ногами росистую траву, возвращались к дому.

Далее — растопка летней плиты, стоящей под навесом, для которой мы с братом должны были насобирать щепочек и принести из сарая мелкого хвороста. И если дома, в Ахлебинино, от нас постоянно прятали спички, то здесь нам их доверяли, и мы должны были сами зажигать сухую бересту и подкладывать её под хворост, заложенный нами в маленькую белёную печку, сложенную тем же дедом из кирпича и глины.

Для походов за водой к колодцу вместе с бабушкой у нас было маленькое жестяное самодельное ведёрко литра на три — не больше, которое мы несли с братом по очереди. Для работы на сенокосе дед сделал нам маленькие грабельки, а для огорода — маленькую лопату. Самым нелёгким делом была прополка грядок в огороде, но и это мы осиливали. И вся эта работа шла под весёлые разговоры и шутки бабушки. Она никогда нас не ругала, если мы делали что-то не то, а терпеливо объясняла как надо. Сухощавая, смуглая и ловкая, она казалось, не знала устали, а вечером, когда дед под тусклым светом единственной лампочки читал вслух газету, она, как правило или пряла пряжу из волны или вязала носки внукам на зиму.

Но перед школой мы с братом попали уже в руки деда. Из новых рабочих инструментов у нас появились маленькие ножовочки, которыми мы выпиливали в овраге хмызник для растопки летней кухни и маленькие молоточки, с помощью которых должны были выпрямлять на куске рельса старые ржавые гвозди. Это было очень трудное занятие, частенько молоточек отскакивал от гнутого гвоздя и попадал как раз по пальцу.

Среднего роста, сухощавый и подвижный, Иосиф Алексеевич отличался волевым и нелёгким характером. Однако педагогические способности у бывшего сержанта Красной армии были: он любил возиться с внуками. Однако в наше воспитание дед вносил некий воинственный дух. Любимое наше с братом дело того времени — заряжать патроны, латунные гильзы для охотничьих ружей. На кухонный стол стелился кусок брезента, ставилась пачка чёрного пороха «Глухарь», рядом появлялись горка войлочных пыжей и на узком кожаном ремешке — медные цилиндрики мерников разных калибров: для пороха, для дроби, для картечи. Тут же находилась коробочка с блестящими медными капсюлями и деревянный молоточек для заколачивания капсюля в гильзу… Всё это хозяйство приводило нас с братом в священный трепет, мы приобщались не только к миру взрослых, но и ко всему тому, что было связано с удивительно заманчивым словом «охота». Наш дедушка был охотником!

В его чулане хранилось несколько ружей: тульская тяжёлая двустволка шестнадцатого калибра, дробовик двенадцатого калибра, лёгкая двустволочка-«ижевочка» с вертикальными стволами (нижний ствол мелкашечный, верхний — 32-й калибр) плюс мелкашка «тозовка». Скажу наперёд, что никто из нас, внуков, охотником не стал, но зато стрелять по мишеням мы с братом научились раньше, чем читать и писать.

Помню, что началось обучение зимой, в ясный солнечный день. Для этого из невысокого забора, отделявшего двор от огорода, дед снял сверху две дощечки — и получилось что-то вроде бойницы, с видом на заснеженный огород. Там, где летом были грядки, он воткнул в сугроб в десяти метрах от бойницы фанерный щит, а на него пришпилил канцелярскими кнопками настоящую мишень. Закрепив в бойнице лёгкую «ижевку» с мелкашечным боем (стрелять с рук из ружья нам было ещё не под силу), дед стал учить нас, пацанов-дошкольников, правильно целиться и вести огонь по мишени. Опыт у него в этом деле был большой: ещё в довоенные времена, будучи председателем районного ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), он являлся заодно руководителем стрелкового кружка.

Теоретически мы с братом всё понимали — как совмещать мушку ружья с прорезью в прицельной раме и целью, как плавно нажимать на спусковой крючок, но на практике первые наши пульки «ушли за молоком». Для нас сначала было самым главным произвести сам выстрел, почувствовать лёгкую отдачу ружья, слышать громкий щелчок, а точность выстрела — второстепенное дело. Но дед был терпелив и не торопил нас.

Когда наши родители приехали в деревню на Новый год, чтобы забрать сыновей домой, мы с братом с гордостью показали маме и папе свои достижения в «науке» — две простреленные мишени. Помню, как отец засмеялся, а мама, работавшая учителем в школе, только покачала головой.

С тех пор прошло много времени, но волнительные уроки БГТО в начале шестидесятых годов запомнились навсегда. Так сложилась жизнь, что брат с семьёй жить далековато от стариков, а я, обосновавшийся поближе, так и оставался дедовым учеником и внимательным слушателем различных его поучений и воспоминаний. В том числе и военных. В то время я уже потихоньку записывал различные рассказы участников Великой Отечественной войны и однажды приехал к деду со своим рабочим репортёрским магнитофон. Но тут меня постигло большое разочарование. Эпизод произошёл незабываемый.

Уговорённый мною рассказать о своей службе в действующей армии, дед с некой напряжённой торжественностью сел со мною за стол, но едва я нажал на кнопку «запись», как он изменился в лице и начал, словно подражая голосу Левитана, громко вещать:

— Партия, правительство и лично товарищ Сталин мобилизовали весь советский народ на героическую борьбу с фашистской Германией…

Я выключил магнитофон и с недоумением уставился на деда:

— Дед, что с тобой? Ты же только что, во дворе, мне рассказывал, как тебя едва в штрафную роту не отправили, когда твой командир с подчинёнными на новый 1942 год спиртом упился, а тут проверка нагрянула…

— Да, было, — виновато ответил дед, — я тогда с напарником на аппарате дежурил… Не успел, значит, за сорок второй выпить, трезвый оказался… А тут вваливается в избу полковник с ординарцем, связь ему понадобилась. Я предоставил аппарат, он позвонил, потом начальника моего требует, а тот лыка не вяжет и другие ребята такие же…

— Ну, вот-вот, — обрадовался я, — продолжай в том же духе…

И включил магнитофон. Но к моему ужасу дед снова сделал идеологическую стойку и стал палить:

— Партия, правительство и командование Красной армии неуклонно следили за соблюдением армейской дисциплины…

Я схватился за голову.

Сколько бы я не пытался записать живую образную речь деда, ничего из этого не выходило. Едва щёлкала клавиша магнитофона, как его словно подменяли. Он кряхтел, вздыхал, виновато оправдывался, но ничего с собой поделать не мог.

И. А. Зорин с внуком Ю. В. Холоповым и правнуком И. Ю. Холоповым, г. Алексин Тульской области, 1990 г.

Тогда я оставил ему ученическую тетрадь с авторучкой и попросил написать свои воспоминания о войне. Первые записи были весьма кратки: проходил срочную военную службу в Киевском военном округе с декабря 1925 по октябрь 1928 года; уволен в запас 19 октября 1928 года старшим помощником командира отделения стрелковой роты. Призван по мобилизации в связи с войной Увинским РВК Удмуртской АССР 6 ноября 1941 года, службу проходил в 50-й армии, в 45-й отдельной кабельно-шестовой роте командиром отделения. В 1943 году надел сержантские погоны. Демобилизован по решению Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 года — закон СССР «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии». К этому времени Иосифу Алексеевичу Зорину шёл уже 41 год, а дома ждала его жена и пятеро детей. Среди наград: медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией» и орден «Великой Отечественной войны». Юбилейные медали дед почитал не как военные награды, а как почётные подарки к 9 мая.

Позже всё-таки эти первые записи обросли другими подробностями, но уже мирного характера. Дед начал свои воспоминания с самого детства, ещё с дореволюционной России, поминая своих родителей, сестёр и братьев из которых до старости он дожил только он один: кто погиб

в гражданскую, кто в Отечественную, кого-то репрессировали… И, надо сказать, это было не менее интересно. Давно ушедшая крестьянская жизнь оживала в этой ученической тетрадке. Дед даже сделал зарисовки — как стояли дома на улице его родной уральской деревне Обухово, как располагались земельные участки, как продольной пилой распиливали на высоких козлах большие брёвна на доски и прочее. Вот только жаль, что в составляемые мною сборники об участниках Великой Отечественной войны эти интересные гражданские рассказы войти не смогли.

* * *

Так и обозначились в моих книгах, как стихотворных, так и историко-краеведческих две основные темы: минувшей Великой Отечественной войны и русской деревенской жизни. Причём, зачастую они органично переплетены. Можно с полным основанием утверждать, что автор здесь не оригинален. Но что поделаешь? Как сказал выдающийся бард минувшего века, сам участник Второй мировой войны, Булат Окуджава «Каждый пишет, как он дышит…» Что к этому добавить? Разве что собственные стихи…

* * *

На круги своя возвращается всё.
Настала весна после стужи.
Исходят небесным пугливым огнём
Дорожные длинные лужи.

На старые гнёзда вернулись грачи,
И солнце вернулось к востоку,
И воды реки возвратились в ручьи,
Приплыв облаками к истоку.

Ах, детская память! Твой маленький храм
Стоит посреди захолустья,
Там голуби будят меня по утрам,
Гогочут соседские гуси,

Колодец скрипит, и жужжат на цветах
Красавцы жуки-кирасиры.
И чудо, что мир в твоих чистых глазах
Не может быть серым и сирым!

Перепёлка

Вспорхнула из-под жатки перепёлка
И, низко над травою пролетев,
Уселась там, где выцветшие ёлки
Стояли, все от зноя разомлев.

Мы спрыгнули с косилки. Дядя Коля
Плетёное гнездо поднял с земли
И мы птенцов по скошенному полю
К кустам посадки тихо понесли.

Спасённые, как малые цыплята,
Попискивали тихо у межи…
И вспомнилось, как в детстве я когда-то
Ушёл в хлеба и заплутал во ржи.

Она стояла плотною стеною,
А я блажил, весь вымокший от слёз,
Но кто-то вдруг склонился надо мною
Взял на руки и к бабушке отнёс.

Штык

Редактору областной «Книги памяти»
Татьяне Романовой

Строгий юноша, боец
Поискового отряда,
Подарил мне кладенец,
Что ему хранить не надо —

Трёхлинейки ржавый штык…
Гость из прошлого, суровый,
Он теперь лежит меж книг
К рукопашной не готовый.

И в отличие от всей
Обстановки кабинета,
Найден он среди костей
Безымянного скелета.

Ствол винтовки, патронташ,
Проржавевшая граната —
Все свидетельствует: наш
Был солдат убит когда-то.

Был ли славным этот бой —
В сводках нет о том ни слова.
Он на запад головой
Лёг в конце сорок второго…

Компас подвига иссяк,
Стал в лесу солдатским прахом.
И теперь любой босяк
Судит прошлое без страха.

Словно лектор средь могил
Гонит к нам потоки шума:
Там-то Жуков недобдил,
Рокосовский недодумал,

Мемуары наши врут,
Есть иные точки зрений…
Но придут на Страшный суд
Батальоны тех сражений.

Никольская переправа

Только прошлого не трогай —
Будет жизнь тогда легка
Старой тульскою дорогой
Я иду вдоль сосняка.

То асфальт, а то булыжник,
А то глина — нету сил.
Это что за шаромыжник
Здесь дороги намостил?

У Никольской переправы
Нету прежней громкой славы,

Нет парома, нету грома
И сидит паромщик дома.

Час кричи, свисти и ахай,
Чтоб на лодке, как маяк,
Засветил своей рубахой
Тихий дедушка Моряк.

Он гребёт, веслом табанит,
Беломорина в усах.
С тихим шелестом пристанет
В мокрых ивовых кустах.

— Ты за медную монетку
Переправь бродягу, дедка.
Коль с теченьем нету сладу,
Дай-ка сам за вёсла сяду. —

Я гребу и всё ругаю
То дорогу, то народ,
Что в любви к родному краю
Прав своих не обретёт.

Смотрит дедушка, как Бог:
— Ты почто отсель убёг? —

Учитель

— В каждом полене живёт Буратино, —
Думает он, когда колет дрова.
Хоп! — И полено на две половины.
Что тут поделаешь? Жизнь такова!

— Как нас кромсало проклятое время!
Кто нас сжигал и похлёбку варил? —
Думает он и таскает поленья,
В штабель, к крыльцу их до самых перил…

В тёплой избе, в застеклённом квадрате
Ряд фотографий. На фоне берёз
Мальчики, девочки… Где вы, ребята?
Где вас буран разметал и занёс?

Эта война на дрова не скупилась,
И в кочегарах особая страсть,
С воем страна вся по рельсам катилась.
К фронту, на Запад, к победе рвалась.

В красном луче заполошного света
Чайник пускает парок на плите.
Генералиссимус смотрит с портрета…
Мальчики, девочки, где же вы? Где?

На катере

А берега лесистые знакомы,
Вот кладбище вдоль бора на холме.
А вот и окна старенького дома…
Как всё знакомо. Как тревожно мне.

Шумит вода. Кричат речные чайки.
Их дом везде, где рыба и песок.
Но вот в короткой полосатой майке
Спешит матрос. На берег лёг мосток

Идёт по сходням с сумками старушка,
А дед встречает, машет костылём.
Помог снять сумки, кепку снял с макушки
И машет нам, а мы плывём, плывём…

Река петляет. Пышными кустами
Обрамлено свеченье тихих вод.
Но чей же взгляд идёт, идёт за нами?
Гляжу с кормы: пустынно, никого…

После праздника

Отшумела деревня, затихла.
Мужики ухом наволочки мнут.
Погуляли и выпили лихо
За победу, за «Гитлер капут!»

Всё парторг обустроил красиво:
Были в клубе доклад и концерт,
И колхоз был отмечен на диво —
Красным знаменем новых побед.

За надой, урожайность пшеницы,
За строительство птичника то ж…
Только что же парторгу не спится,
И кому же он стал не хорош?

Нынче он за другое ответчик.
С прибаутками и матерком
Ходит улицей Колька-разведчик
Да к парторгу, хмельной, прямиком.

Он калитку трясёт и пинает,
И кричит под собачий захлёб:
— Выходи сюда, крыса штабная!
Выходи сюда, мать твою в гроб!

Мы на фронте одном воевали,
Почему же, пойди, погляди,
У тебя — боевые медали,
У меня же — две дырки в груди!

Я не трусил в бою перед немцем
И не раз приползал с «языком»,
Но войну ты закончил гвардейцем,
Я ж закончил её штрафником.

Мы дотопали вместе до Рейна,
А почёт у нас разный поди…

Ты ж идейный, а я — беспартейный.
Объясни же, давай! Выходи!..

Но не выйдет парторг для беседы.
В тёмной горнице курит, молчит.
И давно ему праздник Победы
Той военной махрою горчит.

Участковому жалоб не будет.
Спит у печки, не слышит, жена.
Он всё помнит, он Кольку не судит:
Это так догорает война…

Светлячок

В этой роще, где только замолкли дрозды,
Где в потёмках летучие мыши
Вяжут кружево, в свете вечерней звезды
Бег минут беспокойных потише.

Понимаю: судьба не засохший сучок,
Да и память — не вздохи на тризне.
Но прошу: Проползи по руке, светлячок,
Освети мою линию жизни.

Да, вот эта ладонь, что держала детей,
Что любимую нежно ласкала,
Что сжинала хлеба средь созревших полей
И оружие крепко сжимала

Ныне просит тебя ей, всесильной помочь.
Днём нам верится в собственный разум,
Но когда опускается звёздная ночь,
Опыт жизни сжимается сразу.

И дитём себя чувствуешь. Смотрят с небес
Миллионы миров неподсудных.
И земля уж не мир, где так мало чудес,
А в безбрежьи плывущее судно.

Ни огня, ни дымка. Лишь один маячок
Во вселенной для сердца людского —
На поляне в душистой траве светлячок
И над ним сокровенное слово.

Старик и мальчик

Пройди весь мир, изведай все напасти
И скажешь, не кривя ничуть душой:
Есть две природой данных ипостаси
И чистоты и мудрости людской —

Младенчество и старость человека…
Над ними редко властвует соблазн,
И в мутном токе бешенного века
Они одни спокойны среди нас.

Старик и внук идут, держась за руки.
Желтеют одуванчики вокруг,
Листва лепечет, а по всей округе
Цветёт сирень, разлив свой сладкий дух.

Они не ищут над природой власти.
Её дары не рвут, не копят впрок.
Кто больше их оценит это счастье:
Глядеть на небо, слушать ветерок?..

Так неужели надо нам бороться,
Себя изведать в горестях и зле,
Чтобы по детски радоваться солнцу
И полюбить земное на Земле?

Ольга ШИЛОВА

НЕ БЕЗ ПРОМЫСЛА СВЫШЕ

Впервые Муза посетила меня в десятилетнем возрасте (я навсегда запомнила ту бессонно-майскую соловьиную ночь!), и с тех пор — слава Богу! — наведывается ко мне довольно часто. К двадцати годам у меня уже было немало стихотворений, но жизнь в провинциальной изоляции томила меня чрезвычайно. С юношеским пылом грезила я о поэтическом признании, славе, знакомстве с собратьями по перу, но всё это было возможно только в большом городе. Другого выхода, кроме как, вопреки родительской воле, сбежать из дома Москву, у меня не было…

Побег был осуществлён летом 1981 года. Прибыв в Москву, я в тот же день устроилась на работу приёмщицей-сдатчицей на Очаковский завод пиво-безалкогольных напитков, получив, как лимитчица, место в общежитии. И откуда мне было знать, что именно в Москве Провидение повернёт мою жизнь на 180 градусов?

Моя работа «приёмщицы» выглядела так: к КПП подъезжала гружёная фура с «Пепси-колой» и «Фантой», водитель, выйдя из кабины, открывал дверцы фуры, я пересчитывала ящики с продукцией, выписывала накладную и отдавала водителю. Но однажды дверцы фуры неожиданно-резко открылись изнутри… Через час с ушибом лобовой части головы меня увезли на Скорой в одну из московских клиник, где был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга». Меня положили в стационар, лечащим врачом моим была назначена Елена Николаевна Королёва, которой, спустя тридцать лет я посвящу свою первую книгу стихотворений «Нетерпёж». В больнице, немного оклемавшись, я, умевшая рисовать, оформила больничную стенгазету,

в которой от руки написала несколько своих стихотворений. Елена Николаевна очень похвалила стихи, и на другой день отпустила (с ночёвкой) к своей лучшей подруге, которая работала заведующей отделом критики журнала «Новый мир», известному литературному критику Ирине Бенционовне Роднянской…

Сергей Чупринин в статье «Смыслоискательница» написал: *«Ирина Роднянская — имя в нашей критике безусловное. Даже, наверное, самое безусловное… В учениках у Роднянской — каждый второй из всех, кто ответственно берётся за перо. Уж если сама Роднянская похвалила, писателю можно ходить гоголем (или даже — Гоголем). Если побранила — стоит не обижаться, а задуматься и следующую свою книжку переобдумать».*

В том далёком 1981-м Ирина Роднянская определила во мне дарование «чистого лирика».

На несколько лет у нас с ней завязалась творческая и дружеская переписка, но в силу моих жизненных перипетий, прервалась на целых 23 года.

В 1984-м году я, поселившись недалеко от Обнинска, познакомилась с известной боровской художницей Людмилой Киселёвой и её друзьями-поэтами, которых в её доме всегда было много; там произошла моя встреча с Валерием Прокошиным.

В 1993-м вернулась на родину в Мещовск, вышла замуж, родила дочь, но стихи сочинять не переставала, и в возрасте сорока семи лет в моих тетрадках насчитывалось более 200 стихотворений, 4 поэмы, и множество детских стихотворных сценариев, которые нарасхват публиковались в столичных и других российских журналах.

Всё бы так и шло своим чередом, если бы мой знакомый поэт-бард, живущий по-соседству на улице, не издал в 2008 году сборник своих стихотворений. О, как это меня задело! У такого слабого поэта — собственная книга, а я — такая талантливая! — держу свои стихи в каких-то пыльных чемоданах! Мгновенно вспомнила о Роднянской, позвонила ей по телефону, и уже через неделю отвезла ей целую сумку своих произведений!

Ожидая письма-рецензии, была абсолютно уверена, что получу восторженную похвалу, а то и предложение публикации в журнале «Новый мир».

… Ответ пришёл через полтора месяца в конверте с маркой. В нём, кроме письма от Ирины Роднянской, была рецензия от Павла Крючкова — заведующего отделом поэзии ж. «Новый мир». Прочитав оба письма, я была повержена в шок… Из всего корпуса моих стихотворений Ирине Роднянской понравилось по-настоящему, без всяких ссылок

на полуудачи и «проблески» только одно четверостишие-миниатюра. Как более-менее удачные она отметила десять, а Павел Крючков и того меньше — четыре. В первые три дня я пребывала в полнейшем ауте, ходила сама не своя, затем стала нарастать агрессия. Мне хотелось ехать к своим обидчикам, доказывать им, что мои стихи прекрасны, что это они ничего не смыслят в поэзии! Но постепенно, видимо устав от борьбы, стала внимательнее вчитываться в их отзывы, с каждым днём всё более понимая: а ведь они правы…

В своей рецензии И. Роднянская писала: «В общем, вот две самых главных «беды» у Вас, человека, рождённого с душой поэта и одарённого чувством слова (и то, и другое несомненно). Первая: оттого, что Вы всё время смотритесь в зеркало, Вы никак не можете добраться до своей сути. Зеркало — враг самопознания; это Вам скажет любой богослов и любой психолог. И вторая. Только в начальных стадиях стихописания можно ни на кого из современников не оглядываться и высвистывать свою первую песнь, свою исходную мелодию. Но потом, на следующей стадии, чтобы развиваться, надо окунуться в среду современной Вам поэзии — хотя бы ради отталкивания и вычленения своего участка. <…> Сопоставление других с собой помогло бы Вам избавиться от стёртости «поэтизмов», расширить словарь, внимательней отнестись и к рифме, и к возможностям иррегулярного стиха. То есть чему-то научиться вдобавок к прежним умениям».

Навскидку она предложила мне несколько имён современных поэтов. К счастью, у меня тогда только появился домашний интернет, и я могла их читать. Однако, самые главные слова, повлиявшие на дальнейшую мою поэтическую судьбу, были напечатаны в самом конце письма: *«Я понимаю, что своими выводами я Вас сильно огорчила, но писала так жёстко, потому что не перестаю надеяться на прорыв».*

О, если бы, не выделенное ею, жирным шрифтом, слово «прорыв» — я бы, наверняка, не стала его осуществлять. Но это слово и её надежда подстегнули меня так, что решила: умру, но поэтом стану.

С этого времени жизнь моя началась поистине каторжная. Спать ложилась на рассвете, на сон приходилось не более двух-трёх часов, а то и совсем не спала. На работе в районном Доме культуры держалась на крепком кофе и шоколаде. Как одержимая, читала предложенных мне поэтов. Сопоставляя их с собой, пыталась сочинить что-то своё. Но не тут-то было! Я будто разучилась сочинять, не могла связать двух стихотворных строк! Я отлично понимала, что писать, как раньше, уже не смогу, а как писать — ещё не знала. Это было время мучительной немоты и невыносимого отчаяния. Были дни, когда я буквально ката-

лась по полу и выла…А однажды взмолилась Богу: «Господи, я хочу писать по-новому! Помоги же мне!».

… Никогда не забуду ночь, когда в очередной раз билась рыбой об лёд, сидя на полу кухни, и раскачиваясь, как идиотка… И вдруг — всем существом ощутила — как пространство предо мною — раздвигается … Я сделала глубокий вдох, одновременно шаг вперёд, будто войдя в другое измерение — и на выдохе — произнесла две стихотворные строки!!! Это было — счастье, которое невозможно описать…

…Вслед за этой ночью настало время «поэтического запоя». Теперь я уже, как одержимая, писала…

Можно сказать, это было время моего поэтического Ренессанса, о котором позже в предисловии к моей первой книге Ирина Бенционовна напишет, как о «маленьком чуде», совершившимся на её глазах. А лет мне тогда, «начинающему» поэту, было… 48.

…Месяца через три я повезла на суд И. Б. Роднянской восемнадцать новых стихотворений. Прочитав их, она была обрадована, удивлена, показала их П. Крючкову, предложила мне с ним встретиться. Он отметил более высокий уровень новых стихотворений, выделил, как несомненные удачи — два, но к публикации не принял, посоветовав продолжать работать.

Возвращалась я из Москвы ужасно расстроенная, и по приезде каторжный труд продолжился.

Опуская дальнейшие подробности, скажу, что через несколько месяцев Павел опубликовал три моих стихотворения в журнале «Фома», написав о «поэте из города Мещовска» немало добрых слов. Затем последовали предложения публикаций в других Российских журналах, альманахах.

В 2011 году вышла моя первая книга стихотворений «Нетерпёж». Её главным редактором, автором предисловия и спонсором издания стала И. Б. Роднянская. В 2013 году стихи из этой книги вошли в антологию «Молитвы русских поэтов 20–21 века». В 2014 году за эту книгу мне была присуждена Всероссийская литературная премия им. Валерия Прокошина. Вслед за этим предложения публикаций в российских и зарубежных журналах, альманахах стали поступать одно за другим.

В 2015 году я была включена в список лучших сорока литераторов Калужской области.

Вторая книга стихотворений «Скит» вышла в издательстве «Воймега» в 2016 году Я очень благодарна издателю Александру Переверзину, который с радостью согласился её издать, а также замечательному боровскому художнику Вячеславу Черникову, сделавшему её полное оформление: обложку, иллюстрации. Поэтам Марине Кудимовой и Андрею Коровину за краткие, но ёмкие отзывы на заднюю обложку.

В октябре 2017-го я была принята в Союз российских писателей.

В июле 2020 года в Калуге вышла моя третья книга стихотворений «Благовременье», также замечательно оформленная Вячеславом Черниковым. Послесловие к книге написала поэт Ирина Василькова.

Главный редактор этих книг, как и самой первой — моя дорогая, несравненная, любимая наставница, мой самый лучший друг (спустя несколько лет нашего общения, признавшаяся мне в том, что я у неё — единственная ученица!) — Ирина Бенционовна Роднянская.

* * *

Ещё в садах невызревшее лето.
Ещё не лето, а его эскиз.
С бесстрастием голодного аскета
глодаю горько-розовый редис.

И в жгучести его и кресс-салата,
и в жалящих атаках мошкары —
я чувствую не экивоки ада,
но всё же — разделенье на миры:

на сладко-предвкушаемый — клубничный —
неспешно вызревающий в саду…
И этот — преходяще — пограничный
с редисочной грядою на посту.

* * *

Две мои лелеянные псинки
веселы, поджары и легки.
Стелются по узенькой тропинке,
розовые свесив языки.

Долгие и дальние прогулки
к лесу вверх течения реки.
Солнечны, но ветрены и гулки
первые пасхальные деньки.

Ни души, и от того — ни гавка:
деловиты уши и хвосты.
А в лугах зазеленела травка,
всюду мать-и-мачехи цветы.

Ветер гнёт стоические стебли
трав пожухлых, что ещё крепки.
И в ближайшей к городу деревне
слышно, как горланят мужики.

* * *

Стоят весёлые погоды —
дождя и солнца в меру,
ожившие вдруг огороды
в себя внушают веру.

Уже укропа и редиса
пощипанные гряды,
вот-вот, и расцветёт мелисса
и перечная мята.

Весь день в теплице ободочной —
жара, как возле печки,

и стрелки у стеблей чесночных
закручены в колечки.

И меж писанием рассказа
и переделкой книги,
по три и по четыре раза
рву ягоды клубники.

* * *

То весело тонешь в озёрах люпинных,
то, голову к небу задрав,
выныриваешь из высоких и сильных,
вовсю колосящихся трав…

И вдруг, на поляне — почти обмелевшей,
завидишь — предивный цветок…
Шагнёшь — и среди земляники поспевшей —
что выбрала самый припёк —

окажешься … Лишь на минуту присядешь —
и — времени более нет…
По ягодке — райское пиршество тянешь
вдали от забот и сует…

… А солнце уже далеко на закате…
… А травы облиты росой…
И — полубосая, в подмокнувшем платье,
обратной ступаешь стезёй…

* * *

… Мы — у леса на опушке.
Воздух пахнет — то ли стружкой,
то ли свечкой восковой…

Знать, смешались ароматы —
трав, листвы, и дикой мяты
в духоте предгрозовой…

…Мы — почти уже у дома,
и приятная истома —
шаг-другой — и с ног собьёт…

А над лесом — громыхает,
и в свинцовой мгле — сверкает,
и вот-вот — до нас дойдёт…

* * *

Всё дождь и дождь, всё лужицы-озёрца,
все огороды — хлюпкие болотца,
все бабочки исчезли и жуки,
все ягоды, что вызрели, осклизли,
и лишь лягушки счастливы и слизни,
и в междурядьях злые сорняки.

А я гляжу, как шлёпает спросонок
в сапожках и в цветном дождевике
соседский неулыбчивый ребёнок,
и правлю текст в своём черновике.

Благое у словесника занятье:
в уме, на языке, и под рукой:
сиди, живописуй себе ненастье,
а завтра, даст Господь, и летний зной.

* * *

Мы коршуна видали в поле
и аиста видали.
Три дня о мировом футболе
и не подозревали.

Мы посреди травы и сена,
закатанного в тюки,
предивные вели беседы
без даже тени скуки —

о трав удачной косовице,
их будущей продаже,
о звонкой и весёлой птице,
что из небесной чаши

расплёскивает столько счастья
на каждого без меры!
Мы говорили о Причастье,
о простодушье веры,

о полыхающем закате
над монастырской крышей…
о мировом чемпионате
почти в упор не слыша.

* * *

…короткая, но дивная пора…

Ф. Тютчев

I

Ветер в ушах как плейер.
В утреннем горсаду —
первосентябрьский клевер
розовый — весь в цвету.

Где хоть намёк на осень
в зелени ярких трав?
Слабую вижу проседь,
голову вверх задрав —

в липовой гуще кроны.
Видимо, лишь вчера
в силу вошли законы
прямо из-под пера,

в небе парящей стаи,
сделавшей полный круг,
что без законов знает:
скоро лететь на юг.

Что ей травы газонной
пятый уже укос?
Модницы межсезонной
прядь накладных волос?

II

Больших стволов разлёгшиеся тени,
и холодок, чуть ветреный, бодрит,
и каждый листик клёна и сирени
янтарным солнцем на просвет горит.

К вам прихожу, как в храм за исцеленьем,
деревья парка старого, река,
с дыханием моим, сердцебиеньем,
уже сбоящими, хотя слегка.

Полезно мне для каждой нервной клетки,
для утоленья боли и тоски
глядеть, как на упруго-тонкой ветке
расцвеченные треплются листки…

* * *

У природы кончился запал,
выгорело солнечное масло,
что неэкономно расточал
Ангел, щедролюбию согласно.

Он теперь нацелил решето,
и всё цедит облачную влагу
в птичье оголённое гнездо,
и на подзаборную дворнягу.

Не корить его, а оправдать —
сердце растранжирившей — не мне ли?
Чем лампаду буду заправлять
на Страстной, обугленной неделе?

* * *

Как тебе, душе моей девице,
не в пример блудливому уму —
двух миров до времени жилице,
верность соблюсти лишь одному?

Листья облетевшие горсада,
бусами увешанная ель —

благо, лишь недолгая отрада,
зыбкая земная карусель.

Благо — ни к чему не знать привычки
и не оборачиваться вспять,
в мире быть не боле певчей птички,
и себе, и Богу щебетать.

Не высокомерничая — благо
избегать общественных затей.
Знать, как пахнет книжная бумага,
и не ведать теленовостей.

* * *

Каждый день начинать с нуля,
с первозданного соловья,
самой первой своей весны,
забывая дурные сны.

Сделав первый, как в детстве, шаг —
от восторга воскликнуть так,
что закружится голова.
И, впервые сказав слова
на родимейшем языке,
их впервые предать строке.

Беззащитной вступать в сей мир,
безбагажной, как пассажир
в самый скорый из поездов,
и в нём не наблюдать часов.

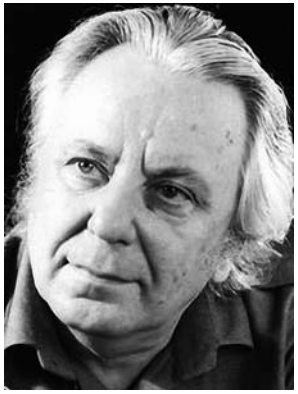
Миг — и ты на другом конце
с вечной радостью на лице —
там, за тридевятью земель,
где звенит неземная трель…

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Наши товарищи, с которыми мы вместе выступали на вечерах, издавали сборники, спорили о литературе, помогали друг другу…

Мы уже не можем встретиться ними в жизни.

Но их книги стоят на наших полках — только руку протяни и говори с ними о самом важном, самом запредельном.



Олег Михайлович Бушко
(1924–2009)

Родился в Краснодаре. В 1942 году, окончив десятилетку, как сын «врага народа» был отправлен на спецлесоповал. Бежал в Москву, где добился отправки на фронт. Участвовал в освобождении Донбасса, Украины, затем — Молдовы, Румынии.

Первые стихи были опубликованы в армейской печати в 1944 году. В 1953 году окончил Литературный институт. Жил в Смоленске, а с 1968 года — в Калуге. Участник учредительного собрания Союза российских писателей.

Книги: «Начало» (1958); «Первая потребность. Стихотворные репортажи» (1962); «Насущный хлеб» (1965); «Тяжёлый огонь» (1982); «Суть» (1985); «Для вас» (1985); «Костёр» (1992); «Силуэт» (1994); «Солдатская книжка» (1995); «Любовь сильнее смерти». Роман (1999); «Эхо» (2004); «Равнение» (2005); «Распахни светлый мир» (2012 — посмертно).

Валерий Борисович Васильев
(1941–2006)

Родился городе Себеж Псковской области.

В 1967 году закончил Уральский политехнический институт факультет архитектуры в Свердловске. Начиная с 1970-х годов работал архитектором в Калуге. С этого же времени активно писал стихи.

В девяностые годы пришёл в журналистику, работал в газете «ВЕСТЬ». Принимал активное участие в поэтических чтениях, художественные выставки, презентации, писал статьи и сочинял стихи. Работал обозревателем в газете «Весть», где писал на разные темы — о театре, литературе, изобразительном искусстве, но, пожалуй, главным его коньком были архитектура, градостроительство.

Книги стихов: «Азбука образов» (1987); «Таруса. Апрель» (1991); «В Калуге звездопад» (1997); «Просто Стихи» (2006 — посмертно).

Иван Михайлович Калинин
(1924–2015)

Родился в деревне Вяжички Барятинского района Калужской области в крестьянской семье. В 1940 году поступил в Елецкое художественное училище, но успел окончить только первый курс, так как началась война.

В ряды советской армии призван в 1942 году. В период Великой Отечественной войны сражался на разных фронтах, был сапёром, полковым разведчиком и бронебойщиком. Был участником Сталинградской битвы.

В составе 3-го Украинского фронта в 1944–1945 годах освобождал Молдавию, Румынию и Болгарию. Был несколько раз ранен, но, несмотря на это, прошёл всю войну и окончил её в звании сержанта.

После войны продолжил учёбу в художественном училище в Ельце. За три недели до защиты диплома был арестован из-за ложных обвинений в контрреволюционной деятельности. Решением суда приговорён к 10 годам лагерей и 5 годам высылки.

Освобождён в мае 1955 года. В 1956 году обустроился в Калуге, работал учителем рисования и черчения, закончил Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности театрального художника.

Работал художником-декоратором и оформил более сорока спектаклей в Калужском областном драматическом театре и Театре юного зрителя. Автор эмблемы Калужского театра юного зрителя. Затем он также работал по специальности на Калужском турбинном заводе.

В 1976 году был реабилитирован.

Писать начал ещё в юные годы. Но только в 90-е годы в калужской прессе и в некоторых литературных сборниках начали публиковать его рассказы, притчи и воспоминания. В 2004 вышла его книга «Настоящий контрреволюционер?». В 2005 году был принят в Союз российских писателей. В 2009 году вышел второй том этой книги. Впоследствии опубликовал книги «Пьесы» (2011) и «Происки судьбы» (2014).

Андрей Андреевич Косёнкин
(1965–2006)

Родился в городе Бор Нижегородской области.

Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова, а позднее Литературный институт им. Горького. Служил в армии, работал артистом, дворником, режиссёром, рецензентом в московских литературных журналах, редактором, заведовал отделом прозы в молодёжном журнале «Мы». Был художественным руководителем Калужского театра кукол. Как прозаик дебютировал на страницах журнала «Октябрь» в 1985 г.

В 1989 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая повесть Андрея Косёнкина «Больница». Другие повести и рассказы публиковались в столичных журналах и альманахах.

В 1998 году в издательстве «Армада» был напечатан роман «Крыло голубиное» — первое крупное произведение автора. Затем в издательствах «Армада» и «Терра» вышли романы «Долгие слёзы» и «След», а в издательстве «АСТ» — три повести для подростков.

Председатель калужского отделения Союза российских писателей с 2000 по 2004 год.

Светлана Львова
(Светлана Михайловна Трунина)
(1951–2005)

Родилась в Саратове. По семейным обстоятельствам начала работать с 17 лет. Была санитаркой, посудомойкой, мотальщицей, переплётчицей, секретарём-чтецом в обществе слепых, развозящей почту, библиотекарем, учителем. Заочно окончила филфак Саратовского госуниверситета.

С 1995 года стихи Светланы Львовой регулярно публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир». В 1999 году по рекомендации редколлегии журнала «Дружба народов» участвовала в работе Международного конгресса поэтов в Петербурге. Автор книг стихов «Сквозь водоросли времени», «Её имя...», «Беспечный сад» (посмертно) и один из авторов книги «У четырёх ветров».

Составитель и редактор двух номеров альманаха «Продолжение».

Председатель калужского отделения Союза российских писателей с 2004 по 2005 год.

Виктор Андреевич Пухов
(1931–2017)

Родился в городе Боровске.

Стихи начал публиковать в годы службы в армии. После демобилизации работал в боровской районной газете «За коммунизм», организовал литературное объединение «Родник».

С 1957 года жил в Калуге. Закончил факультет журналистики МГУ, работал редактором многотиражки машзавода, старшим редактором Приокского книжного издательства, руководил литературным объединением «Вега», был ответственным секретарём и председателем Областной организации книголюбов.

В 1961 году в Калуге вышла его первая книга стихов «Всходы».

Всего вышло около двадцати книг стихов и прозы, в том числе несколько историко-краеведческих: «Боровск», «История города Калуга», «Древнерусские малые города», «Родина купеческих династий» и других.

СОДЕРЖАНИЕ

Людмила КИСЕЛЁВА. Путь за пределы самой себя 5

Ольга КЛЮКИНА. Зеркальце зелёное 12

Игорь КРАСОВСКИЙ. Из книг 28

Вячеслав НЕКРАСОВ. Игрушечная гармоника 43

Владимир ОБУХОВ. На стыке тысячелетий 64

Пётр ТОПОРКОВ. Автобиография 74

Павел ТРИШКИН. Радио «Карантин» 83

Александр ТРУНИН. Немного о себе 88

Марина УЛЫБЫШЕВА. Песенка короткая, как жизнь сама 100

Галина УШАКОВА. О себе 117

Юрий ХОЛОПОВ. С чего всё начиналось... 130

Ольга ШИЛОВА. Не без Промысла свыше. 145

Светлая память 156

Калужский литературный альманах

СИНИЕ МОСТЫ

Выпуск 3

Составитель *А. В. Трунин*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*
Компьютерная вёрстка *С. И. Захаров*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30
E-mail: sergeizah@gmail.com

Подписано в печать 11.09.20. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 10 п. л.
Тираж 150 экз.

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75